

A photograph of a middle-aged man with a mustache, wearing a blue and white checkered shirt. He is shown from the chest up, in profile, looking down and to the right. His hands are raised in front of him, palms facing outwards, as if he is gesturing while speaking. The background is blurred, showing other people in a room.

АЛЕКСАНДР
МИНДАДЗЕ

МИЛЫЙ
ХАНС,
ДОРОГОЙ
ПЁТР

КИНОПОВЕСТИ

Стоп-кадр (АСТ)

Александр Миндадзе

Милый Ханс, дорогой Пётр

«Издательство АСТ»

2021

УДК 791.63(470)
ББК 85.374(2)6

Миндадзе А. А.

Милый Ханс, дорогой Пётр / А. А. Миндадзе — «Издательство АСТ», 2021 — (Стоп-кадр (АСТ))

ISBN 978-5-17-139459-2

Александр Миндадзе – сценарист, кинорежиссер. Обладатель многочисленных премий, среди которых “Серебряный медведь” Берлинского международного кинофестиваля, “Ника”, “Белый слон” Гильдии киноведов и кинокритиков. За литературный вклад в кинематограф награжден премией им. Эннио Флайано “Серебряный Пегас”. В книгу “Милый Ханс, дорогой Пётр” вошли восемь киноповестей Александра Миндадзе разных лет, часть которых публикуется впервые. Автор остается приверженцем русской школы кинодраматургии 1970-х, которая наполнила лирикой обыденную городскую жизнь и дала свой голос каждому человеку. Со временем стиль Миндадзе обретает неповторимый, только ему присущий код, а художественные высказывания становятся предвидением грядущих событий.

УДК 791.63(470)

ББК 85.374(2)6

ISBN 978-5-17-139459-2

© Миндадзе А. А., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

На краю	6
Паркет	8
Милый Ханс, дорогой Пётр	37
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Александр Миндадзе

Милый Ханс, дорогой Пётр. Киноповести

Автор и «Редакция Елены Шубиной» благодарят кинокомпанию «Студия «Пассажир»», киноконцерн «Мосфильм», ТПО «РОК», киностудию «Арк-фильм» за любезно предоставленные кадры из фильмов

- © Миндадзе А.А., 2021
- © Долин А.В., предисловие, 2021
- © Бондаренко А.Л., художественное оформление, 2021
- © ООО «Студия «Пассажир»»
- © Киноконцерн «Мосфильм»
- © ООО ТПО «РОК»
- © Киностудия «Арк-фильм»
- © ООО «Издательство АСТ», 2021

На краю Несколько слов о текстах Александра Миндадзе

Александр Миндадзе вошел в число лучших авторов, пишущих по-русски, задолго до того, как была опубликована его первая книга: это случилось в момент его дебюта в 1970-х. Но не потому, что писал в стол. Напротив, его работы с самого начала были оценены по достоинству, получив довольно большую аудиторию, благосклонную критику и даже профессиональные награды. Просто Миндадзе писал не прозу, поэзию или драматургию, а сценарии.

Он один из тех, чьими усилиями кинодраматургия стала признаваться частью “большой” литературы, выйдя из гетто “служебного”, функционального письма. Миндадзе можно поставить в одну линейку с классиками, чьи сценарии издавались книгами по всему миру, от Ингмара Бергмана до Жан-Клода Каррье́ра, или – это будет логичнее – выдающимися современниками, которых читать ничуть не менее интересно, чем смотреть, Квентином Тарантино или Ларсом фон Триером. В советское время он удостоился редкой чести – упоминаться в повседневной речи, когда речь заходила о фильмах по его сценариям: “Слово для защиты”, “Охота на лис”, “Армавир” сделаны дуэтом Абдрашитов – Миндадзе, никак иначе. Это не умаляет заслуги Абдрашито́ва, режиссера с уникальной интонацией и яркой индивидуальностью, но ставит драматурга-соавтора рядом с ним. На равных.

Сегодня – такой парадокс – полнометражные фильмы Абдрашито́ва не существуют вне сценариев Миндадзе. А вот сценарии Миндадзе вне Абдрашито́ва живут и на страницах книг, и в картинах других режиссеров (Алексея Учителя, Александра и Андрея Прошкиных), включая самого Миндадзе, с 2007 года наконец-то снимающего кино, конгениальное его текстам. По его немногочисленным, но всякий раз незабываемым, штучным, выламывающимся из любой традиции режиссерским работам сразу видно, как приручали и причесывали Миндадзе другие постановщики. И как чужда ему самому, природному и убежденному радикалу, практика адаптации к норме. Его фильмы – не менее мятущиеся, страдающие, потаенные, чем их трансгрессивные персонажи, наследники по прямой идиосинкратическим героям Достоевского и Чехова. Которым, в свою очередь, во многом наследует в своих, порой близких к театру абсурда, диалогах Миндадзе.

Классик в своем трепетном уважении к национальной традиции, модернист в непримиримой цельности вызывающе литературного письма, постмодернист в бесконечной игре со зрителем и его ожиданиями – Миндадзе взломал лед застойной отморозенности 1980-х, по-своему переизобрел язык восточноевропейского “кино морального беспокойства”, превратив его в кинематограф непрекращающейся тревоги. Размышляя в своих сценариях о природе компромисса, сам ни разу не отступил от последовательной бескомпромиссности.

Единственная тема Миндадзе – катастрофа и человек, балансирующий на грани пропасти. Иногда эта катастрофа внутренняя, никак не связана с косностью и благополучной успокоенностью (впрочем, мнимой) внешней среды, как, например, в “Слуге”. Иногда катастрофа показана как общественный сдвиг: распад – тогда еще неочевидный – иллюзорной утопии СССР никем не был передан так хирургически точно и беспощадно, как Абдрашитовым и Миндадзе в “Параде планет” и “Плюмбуме, или Опасной игре”. Но еще чаще глобальной метафорой и структурным каркасом фильма становится катастрофа в буквальном смысле: авария (“Поворот”), крушение поезда (“Остановился поезд”), гибель корабля (“Армавир”), падение самолета (“Отрыв”), чернобыльская трагедия (“В субботу”), гражданская война (“Время танцора”), мировая война (“Милый Ханс, дорогой Пётр”). В “Паркете” – чуть ли не самом радикальном и ультимативном своем фильме – Миндадзе исследует старение и смерть на правах

катастроф, буквально прописанных каждому и слишком неизбежных, чтобы пытаться отвернуться и сбежать от них при помощи игры, танца, любви. Или кинематографа.

Тексты Миндадзе, которые с годами всё сложнее характеризовать словом “сценарии”, тоже катастрофичны и травматичны. Они будоражат и возмущают, не позволяют о себе забыть и отнестись к себе безразлично. Таково свойство подлинного искусства – особенно в России, стране непрекращающейся беды.

Антон Долин

Паркет

1

В январе на Рождество припадаю в восторге на колено и раскидываю навстречу руки. Тангера влетает в объятия. Обрывки платья и есть ее платье. Бедра, грудь, шрам от аппендицита под гримом – все мое это. Ноги не прекращают выделять на паркете фигуры танго, потому и тангера. В моей позиции мне достается голый пупок с серьгой, и в ухе у меня серьга, жизнь сама рифмуется.

Я держу ее. Один во всем зале коленопреклоненный. Юбилей клуба танго “Булат”, двадцать пять лет, отель “Шератон”. Поколения встречаются. Бывшие короли па завалены цветами. Тангеры бегут и бегут с букетами в прошлое к королям. Моя достает изо рта у меня свою серьгу, и я сразу обретаю дар речи.

– Я Какаду. Говорит тебе?

То ли кивает, то ли подбородок в такт дернулся.

– Запоминай. Номер триста пятый. От лифта налево.

Вся страсть в каблучки уходит, бьют в паркет без остановки.

– Ты что же, не узнаёшь меня? Я Какаду, глупая. Тот самый.

Она силится меня поднять, роняет букет, с которым ко мне летела.

– Я был сразу с двумя. Танцевал. И вообще с ними был, да. “Я и две моих телки!”, так называлось. Гвоздь программы. Самый-самый. На бис. Всегда и везде. Но ты тогда еще не родилась, да?

Я крашеный, волосы длинные, до плеч, и лицо старухи. Встаю сам и подхватываю тангеру на руки, еще могу. Несу через зал, и она кричит, очнувшись:

– Куда, дяденька?

– Триста пятый. Обмен серьгами.

И со стороны это убедительно, там, в зеркалах: длинноволосый рассекает толпу с полуголой красоткой на груди, и походка твердая у него, осанка прямая, а пиджак вообще цвета вырви глаз. Вот он исчезает среди танцорской публики, пестрой такой же, попугайской, и снова появляется гордо, а добыча его все неугомонно машет каблучками. Но уже через мгновение там, в зеркале, всё по-другому, и из толпы тангеру выносит вдруг хохочущий увалень, и он тоже при этом танцует. А длинноволосый возникает следом налегке, то есть ни с чем, с растерянно разведенными руками. Облом.

Наяву она мне еще прокричала:

– Эй, а чего ты вдруг попугай?

2

И ведь это начало только, прелюдия милая с серьгой во рту. А дальше вообще себя не помню, кто, что, с ума сошел. Все лица кругом, лица, рыдания или безумный смех с объятиями. Потому что как встреча однополчан эта наша толкотня, похоже очень. Рыскаем по залу, в лица заглядывая, друг друга ищем, с кем давно танцевали, в незапамятные времена. И вот радость тебя ждет, счастье просто, если своего обнял. А не нашел, так быстрее ты еще в толпе, отчаянней и злее даже, и уже судорога пробивает прямо. А вдруг нет того, кого ищешь, не в “Шератоне” этом нет, а совсем на свете? Праздник жизни, если повезет.

Тангеры бывшие смеются звонко, прямо у них колокольчики на старости лет. А я подойду, лицом к лицу тихо встану, и глаза в глаза для опознания. Пугаются дамы, отшатываются чуть не в ужасе, и ведь даже почище рукоприкладства такое. Одна вот, другая и третья уже... И не мои все, обознался опять: “Пардон, мадам, это не вы!” или даже “Гран пардон!”. И остановиться не могу, в толпе мечусь, и волнение только сильней. “Девяносто пятый год. Вы?” И такая мне попадает, лет пятидесяти, что прибегает именно что к рукоприкладству, треснув кулаком в грудь. И с искаженным лицом каблучком в пах добавляет, растяжка танцорская еще вполне при ней. Достает, сгибаюсь пополам.

Кричу в неистовстве, до чего дошел:

– Я Какаду! Телок отдайте моих! Это же я, гады! Какаду!

Но всегда среди всех одна найдется сердобольная, и тоже лет пятидесяти. Вот и нашлась, отводит в сторонку:

– Спокойно.

– Уже.

– Еще давай.

– Всё, всё. Космонавт.

– Яйца целы?

– Железные у меня.

Утешительница лишнее отмечает:

– Я помню тебя. Доволен? Ты Какаду.

– Это я, да.

– И ты был очень, кстати. Даже очень-очень.

Я плыву:

– Вот первый человек, понимаешь?

Неулыбчивая совсем, в очках, смотрит строго, ну такая вдруг с добрым сердцем.

– Про телок давай. Орал как резаный.

Беру шампанское с подноса у официанта и глоток за глотком.

– Партнерши. Две. И я между ними. Давно. Свиньей расстался. Совсем плохо. С одной, потом с другой из-за этой, на которую залез. А знаешь, что скажу? А вот такое. Мы все трое кончали в танце, веришь? На всех шоу. Обязательно. И как тебе это?

– Что?

– Что сказал. У меня чувство вины сильное.

Да она ледяная прямо. Из бокала своего отпила и смотрит сквозь очки, не мигает:

– Ну, там в сиеле партиде есть острые моменты, что и говорить. Или тем более в катрамане, особенно в уругвайской версии. Какаду, низкое в обнимку с высоким. Я разделяю.

Еще шампанское. Пока рассуждает, и с этим справляюсь. Язык уже без костей:

– Ори не ори, нет нигде. И приходит в голову, да, всякое. Мысли нехорошие. А вот что у меня на тебя сейчас встал, это как?

– Это спасибо.

– Катраман у меня.

– Он самый.

– Картинка такая: они с бокалами стоят, вон они, проклятые, и между собой ля-ля. Вижу это. И носы в обиде воротят, и всё затылками ко мне, вроде не они. Валенсия оборачивается и шампанское мне в рожу, в рожу, и прямо ненависть. А Элизабет хохочет. Это как тебе?

И тут ее шампанское становится моим. Выплескивает мне в лицо бокал. И ненависть в очках сверкнула, да.

– Потому что ты вдруг в очках, – оправдываюсь. – Нет, я тебя узнал, даже сразу узнал, но ведь я на тебя, наоборот, через твои очки смотрел, поэтому!

Ответ:

– Про наоборот смешно. Но не поэтому. Потому что правый глаз совсем того... слепой, всё. Ты одноглазый, Какаду.

Неулыбчивое ее лицо тоже становится мокрым вслед за моим, ведь мы уже стоим щека к щеке, обнявшись. В своем льду она хорошо сохранилась. Рука моя скользит по каменным выпуклостям статуи.

– Какаду.

– Я это, я.

– Ты того... Ты ведь сумасшедший, правда.

– Чувства раздирают.

– Какаду, меня тоже на старости лет. Ты перестанешь меня лапать?

На лице статуи волнение вдруг женщины. И носом шмыгает интимно у меня на плече:

– И я тебя уже оплакала, милый. Нет тебя и нет, где же ты?

И я демонстрирую, что я есть. Я начинаю ходить вокруг, рисуя на паркете фигуры, потом хватаю ее и пытаюсь поднять вверх. Руки дрожат, просто вибрируют в напряжении, но у нас все получается как надо, и вот уже статуя со счастливым лицом расставляет у меня над головой ноги, показав, что еще живая.

3

Но приземляется неузнаваемая, в ярости:

– Отвратительно.

– Не понравилось?

– Просто блевать хочется.

И взгляд этот немигающий сквозь очки, свой отвести впору, сначала всё. И скулы сведены сурово, замком будто невидимым стянуты.

– Какаду, чтоб больше этого не было.

Я ловлю ее снова в объятия, позволяю себе.

– Пардон, мадам, – смеюсь, – и даже гран вам пардон, но мы, увы, в программе завтра. Показательно. И одни из всего старичья, как вам? Мы танцуем, танцуем, ты это знаешь?

Опять ответ ледяной:

– Не знаю и знать не хочу. Какаду, вот ты стараешься, молодишься и выглядишь еще больше старичьем. Это про танцы я, если непонятно.

Она стряхивает с себя мои руки. Мстит, суровая, себе за блаженство в стратосфере, не иначе. Стою, ничего не понимаю.

– То есть, коллега, с красотой нашей не рыпаемся? Потомкам в назидание?

– На посмешище. Забудь.

Потомки танцуют кругом под громкое танго, забыв о юбилеях, сами по себе. Лица отплывают и приближаются к нам вплотную, губы слиты в ненастоящих поцелуях.

– Забудь. Никогда, – твердит она как заклинание. В глазах непросохшие еще слезы, но это шампанское.

– Валенсия.

– Кликухи в прошлом.

Вдобавок ко всему уходит. В толпу, в никуда. Нет, догоняю.

– Ножками подыграла.

– Подмахнула. Заставил.

Истеричка еще оборачивается, и это уже последнее:

– Чтоб я больше тебя не видела.

И не пошел я за ней, в толпе остался. Только голос сквозь танго снова зовет:

– Ну где ты там? Эй? Сюда!

Теперь у стойки бара она, опять с шампанским.

– Без обид, Какаду.

– Сочтемся, Валенсия.

– Не сомневаюсь.

– Уж будь уверена.

Придвигается, заглядывает мне в глаза, даже вдруг по голове погладила, как маленького.

– Лицо от злости кривое. Держи лицо. Ты понимаешь, почему я так? Вижу, нет. Ну, потом поймешь.

И тоже бокал мне протягивает:

– Приглашение послано?

– Кому?

– Знаешь кому. Ей, Элизабет. Ты же проверял, не сомневаюсь, так ведь?

Усмешка все же пробегает по каменным губам, ревнивая тень. И уже поднят бокал:

– Элизабет! Великолепная!

И я эхом:

– Элизабет!

Пьем, пьем.

– О чем подумал, одноглазый?

– О чем и ты, мы же не чокаясь.

Молчим. Статуя подмигивает вдруг пьяно:

– Хорош за упокой, Какаду!

И, легко соскочив с барного стульчика, вклинивается снова в толпу. Подразумевается, что я за ней следую, я на веревочке. Ну, так и есть, следую. Но еще схватила меня за руку, и мы вдвоем бежим, расталкивая людей. Бежим и бежим. Слышу шепот рядом:

– Живая! Какаду, она нас с тобой живеи!

Куда мы и зачем, непонятно, но все проворней Валенсия в толпе и не шепчет уже – кричит:

– Элизабет! Где ты? Ты здесь, я знаю! Элизабет!

Мчимся, разбиваем танцевальные пары, напролом мы. И я тоже начинаю кричать бес-связно, получается, просто ору в голос. Валенсия все тащит за собой:

– Элизабет! Где ты? Мы не можем без тебя танцевать! Найдись! Элизабет!

4

И вот в ответ мерещится то ли лай, то ли вой, а потом голоса, возбужденные, друг друга проклинающие. И явью становится картина безобразной свары у стойки портье. Мы с Валенсией прибежали, и ни туда ни сюда, встали как вкопанные: дама в возрасте вселяется в отель, ее не пускают, заворачивают решительно, гневно даже. Потому что в “Шератоне” она не очень смотрится в затрапезной шубе своей до пят, шитой-перешитой, со слякотью на подоле. То есть совсем эта дама тут некстати, в хоромаш с праздничной публикой. Пугает еще линиялая шляпа на голове с лихо и навсегда когда-то заломленными полями, а горящий из-под шляпы взгляд особенно.

– Ключ! Дал, быстро! – кричит она, топая ногами на портье. – Эй! Алло! Долго еще буду? Ключ мне!

Охрана на стреме, грудью вперед, к дверям уже теснит:

– Пошла, пошла!

Ведь вдобавок с овчаркой гостя, приبلудной и облезлой, как она сама.

– В номере со мной будет! Увязалась, и моя, значит, всё! И со мной будет! Я своей жизнью заслужила! Всё, шевелись давай! Ключ мне!

И берут даму под белы ручки, что поделаешь, а она вдруг в объятиях железных кульбит вверх ногами, и вырвалась, и к стойке снова, чтобы всё сначала.

Смотрим мы с Валенсией, оторваться не можем. Жизнь – спектакль.

– Даешь, старая! – восхищается охрана, хватая циркачку за все четыре конечности и к выходу бегом. Невдомек, что взяли в руки змею, рептилию. Извивается, кольцами могучие шеи обхватывает и выскользнула, всё, на свободе опять. Только и из шубы своей тоже вывернулась заодно, и неожиданно предстает перед всеми голой, то есть в платице прозрачном совсем. А там, на просвет, у старой еще молодо все, радуется охрана.

Тоненькая вдруг, сама почти прозрачная, жеманно руки заламывает, вот такое вдруг из шубы:

– А сейчас как обижусь и ту-ту! В поезд от вас обратно! – Смеется, заливаясь. – И по шпалам за мной, по шпалам! Уговаривать! А я, хер вам, я с концами!

И Валенсия вслед за партнершей руками всплеснула, узнав:

– Неужели? Она, она! Элизабет! Родная!

А стражи цепенеют: собака воет вдруг. Воет и воет возмутительно среди праздника. Протяжно, тоскливо, даже слишком, публика оборачивается нехорошо, с тревогой. И охранник к овчарке напрямик, реагирует. Ногу уже занес к дверям скорей пнуть, но поостерегся, раздумал. И возвращается крадучись, глаза из орбит лезут:

– Ё-моё, волк! Это к гадалке не ходи! Он! Волк!

Парни дюжие между собой толкуют возбужденно:

– А это что третьего дня как раз в лесу отстрел, было, нет? Было! День-ночь бабахали!

И он, значит, от пули к нам, этот, все дела! Ух, жуть! Клыки!

– Глянь еще разок! Может, и не волк никакой! Глянь!

– Ага, глянь! Чтоб вообще порвал?

Один особенно паникует, в тряске прямо:

– Так мы чего, как теперь? Отсюда его как, от нас? И Булат, где, главное, Булат? Скорей!

Давайте! Булат увидит, нам вообще хана! Сам порвет хуже волка!

Что делать, не знают. Заметались на месте. Тот, с ногой ударной, к гостье подскакивает, заныл:

– Ты кого ж нам, а? Нет, ты нам кого? Ах ты! Долго думала? Ты волка привела, волчару нам, курва драная!

И Элизабет голос через холл:

– Какаду, отгрузи, ну-ка! В лоб ему!

Высмотрела, видно, в кувырках своих. А может, и не сомневалась, что здесь я, где еще мне? И спокойно позвала, вроде не расставались, всю жизнь друг с другом рядом.

И вот иду я. Шаг, осанка, всё как надо. Волосы мирные до плеч злость маскируют. Обидчик не предполагает, что его ждет, стоит расслабленно. В лоб промахиваюсь, зато на губах кровь, Элизабет заметней. Сам уже на полу я, скрученный в мгновение ока. И нога, та самая, ударная, надо мной занесена, все, казнь. Но замирает нога на полпути, в чем дело? А ботинок кованный опускается мирно к другому ботинку, встает рядышком, и охранник вытягивается стрункой вдруг.

Крепкая, из стали, рука поднимает меня чуть не за шкуру и ставит в полный рост.

– Боевой дух, Какаду?

– Всё выше и выше, Попрыгунчик.

– Выше даже крыши.

– Вообще зашкаливает. С ума уже схожу. Как считаешь, чувства – это что, проклятие такое?

– Это такое, что завтра с барышнями класс покажешь.

Поджарый по-танцорски, по-нашему, и все за шкурку меня держит, разглядывает, кого от смерти спас.

– Не ссы, Какаду. Горбатого могила исправит. Ты такой всегда был, с чувствами. Ну? Ко мне!

Та же стальная рука притискивает в объятии. И я тоже обхватываю голову седую:

– Попрыгунчик, забыл, что Попрыгунчик?

– Я, я! Прыг-скок! Легкий, как пушинка!

– Это твое все?

– Что?

– Отель.

– Половинка.

Близко лицо худое, жесткое, в морщинах глубоких. И глаз внутрь меня уставлен. Зрачок до кишок пронзает, острый, как булат. Так ведь он Булат и есть. С охраной навтыяжку, а Попрыгунчик в прошлое упрыгал.

Да нет, вот он, до сих пор легкий, уже на паркете фигуры выделяет, обо мне позабыв. И слышно, как сам себе шепчет: “Прыг-скок! Я Попрыгунчик! Прыг-скок!” Волосы седые на лоб упали, тяжелые глаза прикрыты упоенно. Изящные, нежные па, воздушные кружева. Замирание ног в вышине. И стражи, застывшие в гипнозе. И мой с открытым ртом, с разбитой губы кровь на форменную сорочку капает.

5

С едой Попрыгунчик еще с поднятой своей воздушно ногой, как происходит настоящее светопреставление, кошмар. Волк молнией врывается в переполненный зал и, сделав круг среди многолюдья, выскакивает обратно в холл, а потом и наружу, в дверь-вертушку, уже навсегда, прощай, волк. Все происходит мгновенно и похоже даже на юбилейный аттракцион с оскаленной пастью, когда публике потом только сильнее хочется жить, глотать бокалами шампанское и танцевать танго совсем до упаду. Танго, кстати, не смолкает ни на минуту, аргентинские бандонеоны наяривают вовсю.

Но гости, шарахаясь от волка, падали, однако, всерьез и на ходу в панике безжалостно топтали друг друга. Уже целые толпы сталкивались в хаосе, шли слепо стенка на стенку, отчаяние выглядело правдоподобно. В давке слышались вопли, дамы, путаясь в платьях, ломали шпильки и сверкали, убегая, голыми пятками. В своей атаке на праздник волк успел побывать в объятиях пьяного, даже так. Хохоcha над клыками, тот поставил зверя на задние лапы и безрассудно вел в танце. Мы с Валенсией видели это своими глазами, но не поверили, нет. Было и такое, что волк мчался прямо на нас, и Валенсия кричала во весь голос. Еще в толчее очки слетели у нее с лица, нас швыряло, как на корабле в качке. И опять она кричала, в меня вцепившись:

– Ты! Ты втянул! Я не хотела! Вспомни! Я говорила! Знала, что будет ужас! Это ты!

И вот этот волк не волк, или кто он там на самом деле, ускользает с поджатым хвостом. Пьяный все хохочет в одиночестве на весь зал, пока не душат рвотные спазмы. Но партнеры уже ищут друг друга и находят, пошли в танце. Еще слышны здесь и там проклятия со стенаниями, но они удачно вплетаются в переборы бандонеонов, обогащают звучание. У бара очередь, шампанское в самый раз. Зал-корабль отчаливает и опять поплыл после штормовой трепки. И веселье выживших еще веселей.

Мы с Валенсией ищем очки, ходим, нагнувшись чуть не раком. Высматриваем на паркете. Ноги танцующих, ноги... Бесконечные па сводят с ума. Па да па.

– Канитель, Какаду. О чем подумала, знаешь?

– О волке, конечно. Был ли волк.

– Не конкретен, Какаду. Я о хвосте.

– Поджато.

– Теперь браво. Один волк забежал на территорию другого волка и поджал трусливо. Я доходчиво?

– Вполне. Кто другой?

– Чья территория.

Я показал – чья. Подскачив, поднимая высоко ногу, изображаю седого Попрыгунчика.

– Ловишь на лету.

– Обострилось все, Валенсия.

Она вглядывается в меня, пальцем погрозила:

– Не пугай.

Со вздохом подбирает с паркета растоптанную уродливую оправу без стекол. Поскорей, стыдись, убирает с глаз долой, прячет.

Разоружившись, без очков, выглядит прежней, какой давно была, в незапамятные времена. Я не свожу с нее глаз.

– Валенсия, здравствуй.

Смущена, смотрит близоруко, мир уже другой.

– Ха-ха. Это что же, новая жизнь теперь?

– Старая, пардон. И улыбка к нам вернется.

Она подмигивает:

– У меня, гран пардон, запасные в номере, ты как думал?

Мы стоим посреди зала, одни такие без движения. Пары кружатся вокруг, сменяя друг друга. И тут в танце подплывает к нам Булат, легок на помине. Он это, он, собственной персоной.

Валенсия не теряет хладнокровия:

– Булат-попрыгунчик, известный в кругах.

– Танцевальных.

– Ну, этих... определенных.

– Ты откуда это?

– Тебе не дано. Любопытный прежний нос, Какаду.

Но седая голова у Элизабет на плече, в паре они Булатом, в чем все дело. И глаза партнерши прикрыты в блаженстве.

Полушепот опять Валенсии:

– Были мужем и женой. Что с лицом, Какаду?

Пара поворачивается медленно, свой у нее ритм, от всех отдельный. И теперь Булат близко совсем со склоненной головой. И слезы блестят на глазах. Да, плачет он, рыдает, и плечи даже вздрагивают, поверить трудно.

А прожектор из тьмы выхватывает руку Элизабет, не ту, которая на затылке седом, другую, от ласки свободную. Глаза прикрыты, а рука зрячая, сама с глазами, и пальцы в неустанной работе. Ощупывают карманы, поглаживая нежно. Но и внутрь проникают, в глубине шарят, даром, что ли, красивые, длинные.

6

Элизабет впереди в своей шубе, еле поспеваем за ней, за обшарпанным чемоданчиком на колесиках. Коридоры “Шератона”. Из одного в другой переходим. И вот шуба сворачивает, чтобы тут же накинуться на нас с воплем из-за угла:

– Дорогие мои! Боже, как же я соскучилась! Вот вы, вот! Хорошие мои!

Обнимает по очереди каждого и вместе, к себе прижимает страстно, от чувств всхлипывая, а мы растерялись, не понимаем.

– Бедные!

– Чего-чего мы?

– Брошенные!

– Ты нас, что ли?

– А кто, кто?

И даже Валенсия с лицом своим серьезным шубу в ответ гладит растроганно:

– Так мы тоже с Какаду, тоже! Мы с ума вообще, пока тебя искали. По полной, считай, хлебнули!

– Ха-ха, шампанского!

“Здравствуйте” запоздалое со слезами. И Элизабет правда плачет. Так и стоим, сжатые, голова к голове, всё стоим неразлучно.

А я, с лаской вразрез, свое:

– А вот что мужик на груди у бабы как баба, это как?

– Опять нос, Какаду! – кричит Валенсия.

Элизабет с ответом тут как тут. У меня на языке, у нее на языке:

– Это мужик понимает, что баба лучшее, что было в жизни.

– Мужик прав, Элизабет.

Она головой качает:

– Не прав!

И чемодан свой подкатывает:

– Бери, галантный. Поехали.

– А номер твой? Идем и идем. Где?

– Мы не в номер.

– А куда?

Шуба без слов поворачивается и опять поплыла крейсерским ходом, занимая полкоридора. Еще и с Валенсией вдвоем теперь в обнимку. Встречные чемоданчики с трудом их объезжают. А из шубы этой извлекаются на ходу то йогурт, то опять йогурт, потом сыр в упаковке, и нарезки колбас – да хозяйка, видно, и сама забыла, что там в карманах у нее, поистине бездонных.

Догадливый я:

– Супермаркет по дороге?

Оборачивается:

– Вопрос опять, Какаду?

– Ответ уже.

Смотрим друг на друга, понимаем. Смеется:

– Не обольщайся. Еще много чего узнаешь, любознательный.

Все быстрее с Валенсией они по коридору, обнявшись. Сыром йогурты заедают. И вижу, как одна другой подножку, украдкой. Валенсия на четвереньках уже, недоумевает:

– Ты чего?

– А чего?

– Да ты ногу мне... Сдурела!

– Сама, сама.

– Сама себе, что ли?

И опять по коридору. Бегут уже, припрыгивают. Догоняю и, разъединив, хватаю за загривки обеих, потому что ведь уже и твердость нужна, пора. И вот держу крепко, и справа лицо, и слева лицо, простые женщины, не первой молодости.

– Какаду, ты властелин наш, вот ты кто!

– Узнаёте?

– Разве забудешь? Ты! Ты! Вернулся!

Стреножил, а получилось наоборот – пришпорил, и чуть не галопом несут уже меня в безумном каком-то восторге. И распевают наперебой куплет на двоих:

– Тангеры мы, тангеры, мы всегда молодые! Какаду, молодые?

– Вы моложе еще! Клянусь!

Хохот:

– Помним клятвы твои! Сам все затеял, а теперь душа в пятки, что мы такие!

Возражать бессмысленно, и я кричу:

– Я, я! Да, я это! Затейл!

7

И вот Элизабет резко притормаживает у какой-то двери, долго роется в карманах. Что еще она оттуда? А пока допевает куплет:

– Ты просто понял, что старый и не хватит на нас сил, так ведь, Какаду?

– На двоих, – подмигивает Валенсия.

Тут уж захохотал я:

– Это мы посмотрим!

Наконец Элизабет находит, что искала, и демонстрирует пластиковую карточку-ключ:

– Он рыдает, что был мудак. Но мудак он не тогда, а вот сейчас, когда распустил сопли. Потому что ты забираешь ключ от его магазина. И ты побеждаешь жадность, которую он сам не в силах преодолеть. То есть ты даже помогаешь человеку справиться с пороком, разве нет, Какаду?

Пока Элизабет с удовольствием разглагольствует, рука ее остается по обыкновению проворной. Карточка-ключ открывает нам путь в офис, и тангеры, не дожидаясь, устремляются нетерпеливо внутрь, и я уже в одиночестве следую за ними по пятам в другой офис, и там тоже никого, и даже потом прохожу насквозь еще в третий, пока не оказываюсь в салоне-магазине, где так же пусто и свет пригашен. Костюмы для танцев вывешены бесконечными рядами, на полках сияет лакированная обувь.

Пройдя этот хитрый и явно запретный путь, остаюсь и впрямь один, а спутниц моих и след простыл. Только костюмы с платьями подозрительно шевелятся здесь и там как живые. И голоса уже, голоса: “Смотри, нет, ты смотри! Какое! А это? Вот это!”

И Элизабет, Валенсия, и опять Элизабет... То профиль мелькнет за манекеном, то нога в ослепительной туфле блеснет. Порознь мы, а все равно вместе. И голос властно зовет:

– Какаду, ты где там? Ну-ка! Сюда!

Валенсия спиной ко мне в проходе в трусах. Прodela сверху руки, а вниз платье никак, в плену застряла.

– Запропастился! Помогай! – командует.

Платье узкое, а влезть охота очень, по отчаянным попыткам судя. Шепчет в лихорадке: “Влезу! Надо! Давай!” Включаюсь, и бюст кое-как преодолеваем, но дальше хуже, проблема уже с задом. И так мы, и сак, а никак. И еще она недовольна:

– Не рви, ты чего, я рвать просила? Тяни!

Опять пробуем. Оборачивается, требует:

– Трусы снимай, ну? С меня трусы, с меня, оглох? Давай!

Подчиняюсь. Трусы падают на пол, и непреодолимый зад вспыхивает белизной, и даже глаза манекена зажигаются.

– Эй, ты там застыл чего? Не видел, что ли?

– Давно.

Ягодицы подрагивают у меня на ладонях как живые.

– Забудь. Тяни.

Влезла. Нежная такая сзади, а обернулась, и лицо суровое, будто не ее, и губы жестко сжаты.

– Я должна, Какаду. Я буду танцевать. Буду.

Полуголая Элизабет тут же вламывается в закуток с горящим взглядом, хватая Валенсию, увлекая за собой:

– А я себе такое! Давай! Я выбрала! Упадешь!

Мне объясняет:

– Мы платья себе на сцену, потом вернем!

– Да потом сами подарят! – не сомневается Валенсия.

Еще раз-другой они являются передо мной в безумии и столь же стремительно исчезают. Невидимо где-то стучат по полу голые пятки, костюмы с платьями вздымаются здесь и там. Волны гуляют по магазину, как при шторме.

И вот предстают неотразимо в своих нарядах. Молодые, полные сил и желаний смелых самых. А ноги, само собой, выделяют па, синхронно туфли сверкают.

Я припадаю на колено, руки раскидываю в перстнях, давно не было. И они в радости от моей радости:

– О, что это? Это что-то вообще невиданное! Что это и кто это? Сладострастный старикашка, он кто?

– Не старикашка он! Повелитель наш! Мы на все, повелитель, на все готовы!

– Да он мустанг, мустанг! Затопчет! Ой, мустанг, не надо! А грива, смотри какая!

А я все с распростертыми руками перед ними, не дрогнув.

8

Это так необычно, что они вдруг обычные. Что, кажется, мы даже незнакомы, и я робею, когда обнимаю их. Никакие не тангеры лихие – женщины две с усталыми лицами, в непарадных юбках да блузках, от пота мокрых. Смущаются, что немолодые, а больше еще от прикосновений моих, будто прохожий подошел и тискает. Об этом и речь:

– Какаду, мы не можем. Мы стесняемся, имеем право.

– Почему это?

– Потому что “Я и две моих тетки!” – смех вообще и грех. И ты нас сам стесняешься.

– Ерунда какая.

– Да мы перед тобой будто голые, не ерунда. Какаду, а очень мы неуклюжие?

В общем, после веселья как похмелье горькое. Передо мной они какие есть. У меня один ответ:

– Болео! Болео супер!

Свободная нога Элизабет колеблется вдоль пола. И нога Валенсии то же самое, только на высоте.

– Выше! Супер, сказал!

– Изволь, милый!

– Не вижу!

– Убери нервы, Какаду!

– Принято. Барридос! – не унимаюсь.

И сдвигаю по очереди мокасином их каблучки, это знак. Да просто сбиваю нетерпеливо – не я, нога моя.

– Грубишь!

Сердятся, вращаясь одна за другой, как заведенные. Нет, остановились и за свое опять:

- Какаду, мы правда ведь незнакомы. Если столько лет не виделись.
- Знакомиться не обязательно, вы танцевать приехали.
- Тоже считаем. Во вред даже. Тем более прошлым знакомством по горло сыты, извини.

Лучше не вспоминать.

- А то, не дай бог, забудем, зачем приехали!
- Наперебой они. Только заткнуть скорей, продыху не дать:
- Хиро!

Послушно обходят меня кругами, как пони, а куда деться, и я кручусь волчком, моя теперь очередь.

Втроем в репетиционной. И до упаду. На ногах уже не стоим, на которых танцуем. А гармошки всё наяривают, подгоняют. Из компьютера бандонеоны, но здесь будто оркестр, в углу вон том или в этом, или, может, за спиной, только невидимый. А за окнами ни огонька, тьма кромешная.

- Так всю ночь и будем?
- Будем. Барридос!
- Тут сбой. Жизнь вторгается.
- Валенсия, бледная ты. Отдохнешь, как?
- Да не устала я, с чего ты?
- Тогда я устала, всё.
- Это между собой они. И на пол прямо повалились, сели.
- Спасибо, Элизабет.
- Твоя всегда. Какаду, минута. Засекай.

На часы всерьез смотрю:

- Пошла.
- Сидят, ноги вытянув, и вены друг у дружки рассматривают.
- Да ну, у меня хуже еще было, убрала. С хирургом повезло.
- Дашь?
- Твой, считай.
- А как мы?.. Ты вообще где, в городе каком?

Обнимаются, развеселились. Валенсия, как всегда, без улыбки, как-то у нее получается.

Еще украдкой меня разглядывают и шепчутся, обсуждают, какой я.

- Какаду, да ты сам колченогий!
- Иди в города играть!
- К нам, Какаду!

Одна жизнь другую отодвинула, и главная какая, не понять уже. Ведь они еще и меня к себе затянули, за брюки стали тащить, и сложился я, на полу уже с ними, всё. И пальцем, как в гипнозе, вожу по венам Элизабет вслед за Валенсией, вот так даже.

А потом еще потянули и вообще между собой положили, я и не заметил. И две женских головы вдруг с обеих сторон на груди, ладонями к себе их прижимаю. И удивляться поздно.

- Вы чего это, стеснительные?
- Мы того это. Мы тебя в плен заманили, чтоб не убежал.
- С ума, что ли, сошли?
- Сойдем, если завтра не танцуем.
- Да кто ж мешает?
- Ты. Вот ты. Не знал, что мы такие стали. Не ожидал. И теперь задний ход. Думаешь,

как ноги скорей унести. Что, не так?

И возразить не получается.

- Молчи. Все равно соврешь. Знаем.

Силюсь подняться – припечатывают опять к полу. Лиц не вижу, только какая разница, кто да что, если одно и то же они.

– Какаду, послушай. Вот ты даже не сомневайся. Сейчас так-сяк, но мы день и ночь будем, костями ляжем, да вот хоть здесь прямо сдохнем, понял ты?

– Понял ты, что уже обратно никак, раз приехали? Значит, правда уже того... на свалку пора? А мы сможем, Какаду. Получится, обещаем. Да мы тебе клянемся, вот так даже!

Прикрываю губы их ладонями, в моей еще власти. Кусают пальцы, не всё сказали.

– Слышал, мы клялись?

– Еще бы.

– Эй, а глаза мокрые вдруг чего?

– Нет.

– Неужели плачешь?

– Я люблю вас.

Тут они замирают ненадолго.

– Соврал все-таки, ха-ха.

– Помните, мы вот так лежали давно?

– А как же. Дуры две голые. Но это были не мы, точно.

В следующее мгновение я оказываюсь на ногах, потому что они беспощадным рывком выдергивают меня с пола. Не сговариваясь, мы расходимся по углам и начинаем самозабвенно чертить на паркете фигуры. И это тоже наш разговор между собой. Вместо слов у каждого отдельная партия, своя особенная дорожка шагов, перебежек и вращений.

Вот закручиваюсь в тугую спирали, лица партнерш мелькают, сливаясь в одно. Это сошлись они в объятии, и я не сразу понимаю, что нежность их смертельная, и на самом деле Элизабет с Валенсией в ненависти душат друг друга. Не веря, подскакиваю и пытаюсь разнять, но тангеры, расцепившись, приходят еще в большую ярость, просто в неистовство. Теперь они машут отчаянно кулачками, повизгивая попеременно от боли и от удачных попаданий. И еще отвратительно таскают одна другую за волосы. В конце концов перекидываются на меня и, забыв о вражде, тоже хватают за волосы, валят на пол и топчут каблуками, причем каждая желает обязательно лично отметить, то есть нанести свой собственный точный удар.

Происходит все мгновенно, в полном молчании, я не верю.

Бегут к двери. Обернувшись, Элизабет все-таки кричит Валенси:

– Я заставлю тебя улыбаться!

И меня не забывает:

– Это ты ей на рожу замок повесил!

Рифмую в ответ поневоле:

– Ты на передок себе замок!

И Валенсия с проклятием успевает:

– Воровка!

Выскакивают одна за другой, хлопает дверь. И я, когда выходил, тоже от души хлопнул.

А в “Шератоне” ночи среди ночи нет: снизу из зала музыка, по этажам полуголые тангеры с кавалерами в бабочках, всё приплясывая. И я, пока по коридору иду, между ними искусно лавирую, тоже танец. Одна чуть с ног не сбивает, без кавалера, но с подушкой в обнимку в чужой номер спешит.

Сделав круг по этажу, возвращаюсь опять в репетиционную, и тут же следом Элизабет является, а за ней и Валенсия. Порознь они, но обе одинаково спокойные, с безмятежными лицами, и как ни в чем не бывало.

– Кунита? С переходом в кортадо, как? И плавно в сакаду? Вспомним, рискнем? – предлагает Валенсия.

– Я тоже подумала. Без куниты никак. Не перейдем. Хоть так, хоть этак, а все кунита, давайте, – соглашается Элизабет.

– Вспомним, придется, – подтверждаю я.

Все-таки было или нет, что друг дружку избили и меня заодно? В танце сходимся, расходимся, и опять близко, три лица стиснуты, и я смотрю, насквозь прожигаю, а в глазах тангер нежность одна. Нет, не может быть. Не было.

Закончили фигуру. На месте встали и стоим, обнявшись. Шепчет Валенсия:

– Не верю, что мы это сделали. Вот не верю.

И Элизабет в волнении к себе прижимает:

– Живые еще, живые. Дорогие мои. Ну, лиха беда начало!

– Вы только не отвлекайтесь больше, – напоминаю я.

– Нет, что ты! Даже не думай! Мы прощения просим! Обещаем!

Чуть не плачут, растроганные. Но только разомкнули объятия, оказалось, еще сильнее во вкус вошли.

– А чего вот стоим, непонятно? Дальше давайте! – требует Валенсия.

Элизабет на меня смотрит:

– Готов, Какаду?

– Есть сомнения?

Они бросаются на свои исходные позиции, только и ждали. Начинают сближение, глаза горят. И по очереди взлетают ввысь с раздвинутыми ногами, как обещано. Одна при этом стонет, другая рычит даже. Кажется, остаются под впечатлением от своих полетов, потому что разом вдруг затихают и уже в полной тишине завершают композицию на паркете.

И так же без слов потом выкатываются за мной в коридор, идут по пятам, не отставая, чуть не шаг в шаг.

9

И в номер даже ко мне следом пытаются войти. Я преграждаю путь:

– Э, нет. Полчаса, милые, чтоб я по вам соскучился.

– У нас полчаса?

– Всё про всё. И ни минутой больше.

Открываю уже дверь, они всё у меня за спиной, не уходят.

– Знаешь, Какаду, – говорит серьезно Элизабет, – я потрясена, в какой ты форме. Правда. Слов нет.

И Валенсия вторит:

– Да, браво тебе, браво. Вообще, что ты все это придумал.

– То ли еще будет.

– Думаешь?

– Уверен. Вы тоже неплохо раздвигали.

Смеются польщенно. А сами вроде нечаянно всё оттесняют от двери, прямо там, в номере, у меня им будто медом намазано, а я так же нечаянно не пускаю, встав часовым в проходе. Мое упорное сопротивление они воспринимают по-своему, то есть уже не сомневаются, что я прячу кого-то за спиной. И, проиграв борьбу, понимающе переглядываются.

– Что ж, Какаду, мы рады, что ты еще мужчина, с этим тоже поздравления, – заключает Валенсия.

– И когда только успел? – удивляется Элизабет.

Валенсия знает:

– Ну, здесь такое количество дурочек, что немудрено. Называется, пусти козла в огород. Не меняешься, Какаду.

Уличив меня в грехах, они наконец удаляются. Элизабет на ходу оборачивается, а как же: – Силы береги, еще пригодятся.

А дальше вот что. Едва захлопнув дверь, я делаю шаг-другой и падаю замертво лицом на ковер, не добравшись до дивана. Со стороны выглядит так, что я уже и впрямь покинул этот свет, неподвижность моя кажется полной и окончательной, так долго лежу. Нет, ожив, кое-как на полусогнутых ногах перемещаюсь все же на диван. Задыхаюсь, судорожно ловлю воздух, рука одна на сердце, другая приступает к реанимации, забрасывая в рот таблетки, их на тумбочке целая гора. Знаю, что делаю, что, зачем и как, не новичок. Привстав, пытаюсь ремень расстегнуть и, не справившись, иглу себе засаживаю прямо сквозь брюки в зад, шприц уже наготове. Сорочку сдернул, стаскиваю бандаж, живот противно вываливается. И вот сижу, прикрыв глаза, грудь вздымается, и это моя тайна за дверью и есть. Губы свое что-то шепчут, может, молитву, пот градом. И улыбка уже, что выжил, опять пронесло.

А снаружи кулачки партнерш моих, оказалось, колотят и колотят, там время у них другое. И встаю, пошатываясь, труба зовет. В боевой опять наряд свой облачаюсь. Бандаж, сорочка, ремень затягиваю туго... Всё. И в зеркале уже кавалер бравый кивает мне одобрительно и напоследок подмигивает даже: “Держись, Какаду!”

10

Дорожки шагов через зал по паркету. Ко мне навстречу идут и в танце приходят. Волнение.

– Вот мы шли, видел?

– Засмотрелся.

– Как тебе каминада наша?

– Нет слов.

Танцую с ними вместе без остановки.

– Какаду, счастливы мы. Это мы?

– Вы четверть века назад.

Осыпают поцелуями. Одна придвигается, другая. Дрожит голос Валенсии.

– Не знала, что такое еще будет, забыла. И ты счастлив, да?

– Очень.

– Мой хороший. Ты же не умеешь быть счастливым.

– Настало время.

Всё поцелуй, поцелуй. И, кажется, уже долгие слишком, не важно, кто мужчина, кто женщина, все вместе в ласках забылись вдруг, замолчав. Наконец отрываю их друг от друга, и сам через силу от них отрываюсь, и в смущении размыкаем объятия.

– Поднимай, хороший, – шепчет Элизабет, очнувшись.

Она делает шаг мне навстречу, готовая привычно взмыть ввысь, но я хитроумно оборачиваюсь к ней спиной. Удивляется:

– Что ты, Какаду?

– Было уже.

– Калеситы не было.

– Я о поддержке.

– С которой я соскакиваю в калеситу, именно. Что же непонятно?

– Понятно, что справишься без поддержки, не сомневаюсь.

Уже в недоумении Элизабет:

– Какаду, милый, ты с ума? Дай мне зацепиться, я после полета буду в калесите другая!

Я знаю:

– Ты станешь другой завтра на сцене, когда я подниму тебя. Это будет неожиданно, и ты ярче еще сверкнешь. Поверь, Элизабет.

Валенсия в бой бросается:

– Хорош, Какаду, совесть имей! Поднимай давай, ты чего вообще?

И опять нетерпеливый ко мне подход, и снова мой увертливый маневр в ответ. Да, я жить хочу.

Элизабет перестает танцевать, смотрит на меня. И уходит, откуда пришла, в угол к себе, на исходную. Слышу:

– Какаду, мне плевать. Мне вообще на тебя плевать.

– Жаль, что так, Элизабет.

– Ты мне не нужен. Нет, нужен как инструмент, ты это понимаешь?

– Как домкрат, – подсказывает Валенсия.

Я бессильно развожу руками:

– Сломался.

Элизабет только головой качает:

– Неприятная новость, Какаду.

И я в ответ вздыхаю:

– Усталость металла, что поделаешь.

– Ничего. Остается прощальный привет.

– И ты не забудь своей калесите.

Элизабет кивает и отворачивается, кажется, навсегда, и будто нет ее больше, всё. И бандонеоны солидарно смолкают, коду отыграв.

Но Валенсия еще есть, вот она, вцепилась в меня, рвет ворот сорочки, пуговицы летят:

– Какаду, что скажу, послушай, нет, ты послушай! Я уже сама не знаю, чего я вдруг, зачем, кто вообще такая, ну, с танцами этими! Но если сейчас вот сорвется, я тебе тогда не знаю, что... Да горло перегрызу, я лично!

И тут же Элизабет, опять вдруг объявившись, не ждал уже:

– Ду, милый, можно тебя так по старой памяти?

– По очень старой.

– Очень, да. Понимаешь, тут ведь еще дело такое. Я не помню напрочь, как там, чего. Ну, в диагонали этой, как отшибло. Ду, я что подумала... Может, так вспомню, ногами? Вот ты меня на руки если, а я с тебя соскочу и с разгона? Вдруг получится, как?

Не я, руки-домкраты мои сами призывно вверх идут, и Элизабет с места срывается, бежит ко мне. А Валенсия на шее уже повисла, рядом стояла.

11

И мы преодолеваем. Элизабет спрыгивает с меня и уходит в калеситу. И это у нас одно движение такое общее, слаженное и гармоничное даже. Но и помарка вкрадывается, едва заметная, когда за сердце хватаюсь. Жест мимолетный, рука опять сама, но Валенсия разглядела, реагирует:

– Вот!

Оказалось, я под недреманным оком ее, рядом танцует, партия своя у нее, отдельная.

– Что значит “вот”?

– А что значит?

– Ты сказала.

Не дрогнув, отчеканивает:

– Вот – это вот. Что у нас все получается. Нет разве?

Рифмую в ответ:

– А вот и сглазила!

Потому что ведь не получается, наоборот: Элизабет, в кренделях своих запутавшись, на паркете встала и стоит, так и замерла с занесенной ногой, и ни туда ни сюда.

– Забыла. Все забыла.

– Еще. Сначала давай.

– Спасибо, Ду.

– Элизабет, вперед.

Это себе я командую. Чтоб без помарок, жестов предательских. Но опять получается, что не получается, и всё даже хуже еще, и плохо совсем, потому что с Элизабет на руках зашатался я, не повалился чуть на паркет. И только она соскакивает, так кашель ураганный налетает, вообще пополам сгибаюсь. А око Валенсии все в меня уставлено, лицо непроницаемо, и ноги танцуют сами по себе.

Но, главное, Элизабет, споткнувшись будто, посреди зала столбом встает – и ни с места, зря всё. Спиной она к нам, слышно еле:

– Нет.

– И что?

– И всё.

В угол свой идет и там спотыкается, и на этот раз мы к ней бросаемся, потому что безжизненно сползает вдруг по стене на пол, еле подхватить успеваем. Пока держу за плечи, Валенсия, перепуганная, тормозит ее, бьет по щекам, потом, схватив с подоконника бутылку, поливает лицо водой. Обнимает, к себе прижимает: “Дышит! Обморок!” Умоляет очнуться: “Элизабет! Элизабет!” Всё без толку, и не знаем в ужасе, что делать, трупом она без движения, голова безвольно откинута, из стороны в сторону мотается.

Руку протягиваю, хочу лицом к себе повернуть, и тут Элизабет, странное дело, ладонь мою принимается целовать, пальцы губами ловит. И, ожив чудесным образом, сама из объятий вырывается и ложится лицом в пол. И смех сдавленный слышен.

Валенсия лицо утирает, тоже мокрое.

– Началось. Все думала когда. И вот!

– Опять ты “вот”. Что “вот”?

– Вот и купились, ура! – рифмует с пола Элизабет.

Рядом присаживаюсь.

– Вспоминай, сука.

И в коридор выходим. Валенсия вздыхает сокрушенно:

– Не знала, что все так кончится. То есть нет, знала, но думала, уже разучилась обольщаться. Давно не было. Идем, пошли?

– Куда?

– Туда. Сюда. Все равно.

Не дожидаясь, двинулась по коридору. Прячет лицо в досаде.

– Придумаешь, а потом разочарование. Как в молодости.

– Так молодость и есть.

– Когда?

– Сейчас вот. Сейчас, Валенсия.

– Да?

Пытался на ходу обнять – не поняла даже.

– Чего ты?

– Просто.

– Не лапай.

– Ладно.

– Страшно, что сумасшедшая?

– Тогда выглядело обаятельно. Образ.

– Ну, сколько лет. Усугубился образ. А что мы тут тоже вместе с ней малость свихнулись, и не малость?

– Наоборот, нормальными людьми стали.

Она ко мне поворачивается. И подмигивает вдруг вместо улыбки:

– Да мне тоже, Какаду. Не страшно, а наоборот.

Дальше все происходит в одно мгновение. Кажется, я угадываю ее желание, притиснул к перилам, и под моим страстным напором она с готовностью перелаывается пополам и в конце концов повисает головой в пролет. Стянутые заколкой волосы маятником качаются над танцующими далеко внизу парами. Я провозглашаю:

– Поддержка наоборот!

И слышу ее ликующий голос в ответ:

– Самый раз!

Расплата неминуема. Едва выдергиваю из пропасти, еще не придя в себя, она предъявляет мне претензии:

– Ты в уме?

– Разве не понравилось?

– Мог не удержать, запросто.

– Обижаешь.

– Да вон на части разваливаешься!

И, передразнивая, она прикладывает ладонь к сердцу, потом и глаз загораживает, не забыла. В общем, полный мой портрет. Ну, и кашляет, конечно, согнувшись, надрывается просто.

– Скажи, Какаду, ты поэтому так распрыгался?

– Поэтому почему?

– Вот потому, что разваливаешься. Ты напоследок, да?

Она с опаской опять перегибается через перила, вниз заглядывает. И, кажется, сейчас осознает только, где была. На лице ужас.

– Боже мой!

– Ты сама хотела.

– Я? Что я? – удивляется она.

И уже прикована к перилам, снова к ним подходит, обо мне забыла. А когда оборачивается, говорит с досадой, увидев:

– Ну, чего прицепился, Какаду? Иди, уходи. К бабам, что ли, своим мифическим, сам-то веришь, что бабы? Или вон к лежачей давай, к ней, полоумной, может, перестанет над нами измываться!

Последнее Валенсия уже прокричала, с собой не совладав, и в конце взвизгнула даже, и тотчас Элизабет отозвалась в ответ с не меньшей яростью, из коридора как раз к нам выскочив, так что получилось, чуть не в один голос с партнершей.

– Ушли! Почему? Да как смели! – топают ногами Элизабет. – Уважение! Слышите? Я требую к себе уважения!

И, сорвавшись с места, бежит опять по коридору, в обратную сторону, и Валенсия, просяив лицом, за ней следом. И вот мчимся мы, обо всем позабыв, а Элизабет уже впереди дверь распахивает, зовет:

– Вспомнила! Все вспомнила!

12

То, что демонстрирует Элизабет, превосходит все наши прежние упражнения на паркете, по сути беспомощные топтания, теперь ясно. Легкая и уверенная в своем изяществе, она без единой заминки пересекает зал, одаривая нас на ходу лучезарными улыбками. Перед дверью не останавливается, а так и выходит, танцуя, наружу.

Ждем, когда вернется. Валенсия спрашивает:

– А ты это все за чистую монету принял, что забыла?

– И за кулисами актриса. Важен результат. Ты чего?

Валенсия слезу смахивает:

– Зависть.

– Видишь, тоже играешь.

– И близко нет.

– Думаешь, что не играешь, но играешь, – заключаю я со знанием дела.

Элизабет все не возвращается. Выглядываем в коридор, там никого. Мне непонятно.

– Что за черт? Где?

И ходим уже туда-сюда в поисках. Валенсия исчезает за дверью туалета. Возникнув опять, командует:

– Смотри в мужском.

– Оригинально.

– С нее станет. Давай.

Подчиняюсь. Вернувшись, развожу недоуменно руками.

13

Наконец обнаруживаем в баре на этаже. С рюмкой коньяка за столиком и в полной безопасности. Валенсия решительно садится напротив, лицом к лицу, на диванчике я поодаль при-
мостился.

– Что происходит?

– Утро, – пожимает плечами Элизабет.

– Коньяк.

– О, да!

– Пока мы тебя по унитазам?

Элизабет не слышит, прильнув к окну. Там внизу река, сверкают, наперегонки бегут первые лучи солнца по льду.

– Я навсегда это запомню!

Радуетса и просит, требует даже, чтобы мы тоже радовались:

– Видите? Вы видите? Да слепые просто!

И, глядя на нее, стонет Валенсия:

– Ну, тварь! Тварь!

– Какаду, скажи своей жене, пусть закроет рот, – морщится Элизабет.

И Валенсия в ответ морщится тоже:

– Какаду, скажи своей любовнице, коньяк – смерть шизофреника!

И началось...

– Коньяк за здоровье жены! – провозглашает Элизабет.

– Любовнице слава! Спасибо, что мужа увела! – не отстаёт Валенсия.

Обижаюсь, делаю вид:

– Тебя это радует, Валенсия?

– Мой самый счастливый день жизни!

И смеюсь я, смеюсь:

– Было так давно, что уже не было, вы чего?

Но еще Элизабет вставляет напоследок, успела:

– Она по тебе до сих пор сохнет, смотри!

Мы с Валенсией переглядываемся и даже фыркаем одновременно.

И всё. Сцепились, расцепились. Оказалось, неважно это, вообще не имеет значения. Потому что Элизабет вскакивает вдруг из-за столика и принимается посреди бара ногами выделывать свои кренделя, причем в ярости она.

– Я иду вот так! Так! И еще так! Натё! А потом я так! Видели? А вот вы! Вот, показываю! Вы так и еще так! Ну, допустим, так еще! И что? И всё, больше ничего!

Плюхнувшись опять на стул, сообщает:

– Не могу больше. Не буду. Нет.

Уточняю:

– Чем не угодили?

– Всем угодили.

– Плохо танцуем?

– Хорошо.

– И что ж тогда?

– Не так.

Вот значение в чем. В ногах, ступнях, позициях, таких, сяких. Вдруг это важнее всего, самой жизни даже.

– Не так, – повторяет Элизабет и к окну опять отворачивается. – Я вас ненавижу. У меня поезд через час.

Валенсия удар держит:

– Вали. Мы с тобой тоже нахлебались.

И уже каблучки ее мелькают со мной рядом. Выпорхнула на середину бара, тоже не лыком шита, и в ярости, как Элизабет. И перебежки эти, вращения, замирания ног в вышине, которые важнее жизни.

После полета на место приземляется, на нас смотрит с Элизабет, с одного на другого взгляд переводит:

– А без меня не смогли, ха-ха, парой потом. Никак без меня, что ж вы?

Тангера полуголая напротив, у нас с ней роман мгновенный. Кавалер удачно сидит спиной, а девушка как раз лицом и в глаза мне смотрит. Вняв моим немим мольбам и решив подбодрить, она расставляет под столом ноги, нескромно, выше всех ожиданий. И еще и юбку, изловчившись, вверх не без удовольствия подтягивает, и без того короткую. И мне остается только благодарно приложить руку к сердцу, что же еще.

– Вот! – фиксирует мой жест всевидящая Валенсия.

И начинает ко мне с подозрением приглядываться, а вместе с ней и Элизабет, и всё внимательней они, и с тревогой даже, ведь я так и застыл на своем диванчике, окаменел будто с приложенной к груди рукой, и глаза у меня закрыты.

– А чего он такой? – интересуется Валенсия.

– Какой он?

– Такой. Нехороший какой-то.

– Да, бледный. Какаду! – зовет Элизабет.

Это они между собой. И всё смотрят и смотрят, и сами каменеют в ужасных предчувствиях со мной вместе, уже совсем каменные. Зеваю и открываю глаза:

– Что такое?

Валенсия бормочет:

– Ничего.

– Все-таки?

– Ну, показалось.

– Богатое воображение, – заключаю я.

Элизабет вскакивает:

– Поезд! Мой поезд!

И партнершу против ее воли обнимает, Валенсия отвернулась даже.

– Прощай, моя хорошая! Ты так ни разу и не улыбнулась!

Возле диванчика притормаживает, садится со мной рядом и по щеке гладит:

– И ты прощай, мой попугай. А ты даже лучше стал, знаешь.

– Лучший попугай?

– Да человек, представь себе.

– И ведь правда, самое удивительное, – доносится голос Валенсии, она все сидит, не оборачиваясь.

И тут тангера напротив с опозданием спохватывается и смыкает ляжки. И Элизабет, конечно, порочную связь без труда разгадывает:

– Девушка, ум в передке, где? Возбудила, чуть не сдох!

Дерзкая девушка с ответом не медлит:

– Сама садись, старая, покажи, чего осталось!

Партнер хохочет, и Элизабет вместе с ним смеется в проеме двери. Мы смотрим с Валенсией, запомнить хотим, пока смеется. Но уже нет ее, всё.

И шум в коридоре. На диванчике меня будто подбрасывает. Из бара выбегаю, Валенсия следом.

Элизабет на полу лежит недвижно, вокруг никого, и я бросаюсь к ней, бегу. Валенсия на полпути догоняет, обхватывает на ходу, вдруг руки у нее сильные:

– Стой!

– Да ты чего, чего?

Вырываюсь, а ни с места, хватка мертвая.

– Какаду, терпение.

Так и стоим, держит Валенсия и спокойна, знает, что будет. И дождалась:

– Вот. Полюбуйся.

Элизабет встает как ни в чем не бывало, бодро даже, и на нас оглядывается, на зрителей своих. И пальцем погрозила, что номер не прошел. По коридору устремляется, на поезд скорей. Еще, обернувшись, на прощание воздушный поцелуй посылает.

Валенсия от поцелуя в ярость приходит:

– Чтоб ты сдохла!

И идем с ней молча. Но, не сговариваясь, тут же разворачиваемся и бросаемся за Элизабет следом.

14

Куда! Стой! Я номера ее не знаю! Подожди!

Это я от Валенсии отрываюсь, а она мне в спину напрасно кричит. Зовет, просит, но я все быстрее и быстрее наоборот. По коридорам от нее, лестницам, только не отстаю, нет. Тогда за угол встаю, затаился. И проскакивает мимо, не заметив. Всё.

К Элизабет ломлюсь, а дверь открыта.

– Ду, вопрос решенный.

– Не сомневаюсь.

– Я не буду танцевать, не буду.

– Понятно.

– Ты видишь, что меня уже нет?

На самом деле Элизабет есть, но делает все, чтобы не было. Чемодан раскрытый посреди номера, мечась, она вещи в него забрасывает.

– И что ж пришел, если все понятно?

– Ты дверь оставила, чтоб пришел.

Блузку с себя долой, юбку, и бежит в спешке, переодеваясь. В трусах одних и в лифчике, не стесняется, я не в счет.

– Понятно, что непонятно, Ду. Скажи, ты чего вдруг такой?

– Какой?

– Счеты, что ли, с жизнью?

– Ясней давай.

– На сцену за смертью лезешь, куда ясней. Под бандонеоны решил?

– Уж лучше, чем в скорой помощи.

– Давно у тебя?

– Еще ясней, Элизабет?

– Про инфаркт, еще если.

– Месяц.

– По счету какой? Первый, второй, какой? – Пальцы даже загибает, не ленится. – Или?

– Смешно ты пальцами.

– Я спросила.

– Или. Элизабет, откуда знаешь?

Удивляется:

– Да все всегда всё знают, откуда – непонятно. “Шератон” вон весь. Последний танец Какаду.

Радуюсь я:

– И снова знаменит?

– Весь в лучах славы.

Подождала и спиной встает, чтобы лифчик расстегнул, свитер в руках наготове.

– Не разучился?

– Посмотрим.

– Ду, надоело жить?

– Я от себя это гоню.

Оборачивается, грудь тяжело мне на ладони падает.

– Нет, Элизабет, не надоело.

– Сожми тогда, что ж ты?

– А родинки, родинки?

– Убежали.

И снова спиной уже ко мне, не понимаю:

– Застегни.

– Опять?

– Быстро!

И в мгновение ока вдруг в обратном порядке всё: вслед за лифчиком уже и блузка на ней, а потом тут же и юбка, и свитер ненужный в сторону отброшен, и вот передо мной стоит какая была, поверить трудно. И еще в руках у нее пакетик, и она оттуда извлекает что-то, сразу не различишь. А когда надувать стала, оказался шарик, и не простой, а презерватив по всем признакам.

И хоть не сразу я, но догадался:

– Из кармана у меня? И когда успела! Даешь!

Потому что фокус знакомый, было уже. Элизабет не отрицает, а наоборот – жмурится, торжествуя и от шарика не отрываясь. Все надувает, пока не лопается, и даже она от испуга вскрикивает. И настает время моего торжества, объясняю строго, почти лекция:

– Пиджак из клубного гардероба, я выступал в нем четверть века назад. Старый мой пиджак, и содержимое карманов соответственно. Клептоманы, не зная, куда лезут, все равно лезут, они слепы в своей страсти. И клептоманки особенно!

Элизабет в восторге:

– Какаду, браво!

Придя просто в неистовство, она хохочет и уже второй надувает. И к окну скорей бежит, чемодан несобранный по пути ногой отпихивает. Раму распахнула, и ветер шарик подхватывает. И к трубам заводским понес, к клубам дыма, далеко. А мы стоим, смотрим.

– Ты должник мой, Какаду, – говорит Элизабет.

– Это понятно.

– Я из-за тебя осталась, чтоб не сдох. Раз и навсегда запомни.

– Любое желание.

Она взглядом меня окидывает:

– Одно, пожалуй, не поверишь. Хочу с тобой танцевать.

15

И по коридору уже молча идем. Спрашиваю:

– А ты с ним была, когда со мной была?

Элизабет и не поняла даже:

– Что-что? С кем, с кем?

– Ну, с Булатом, с Попрыгунчиком своим?

– Вообще-то я от тебя к нему ушла, в причины не вдаемся.

– Не вдаемся. Но ты с ним была? Не потом, а когда еще со мной?

– Господи, кто о чем. Какаду, заклинило?

– Вот представь себе.

– Тогда не была, а бывала, если еще с тобой была. Черт, еле выговорила! Какаду, ты меня заморочил!

Прибавляет шаг, догоняю. Не знает, как от меня избавиться.

– Ну, раз, может... Уже не помню. Отвяжись.

– Раз или раз-другой?

– Может, и другой, да.

Передразнивая, еще палец на ходу загибаю, третий по счету:

– Или?

– Да.

– Что да?

– Или.

Подталкивает меня к двери, ведь уже мы у номера Валенсии:

– Стучи, зови! Давай! – И сама стучит, не дожидаясь. – Госпожа Валенсия! Дорогая наша, ау! На репетицию пожалуйста!

Тоже включаюсь:

– Наверстывать! Милости просим!

Валенсия за дверью вместе с нами кривляется:

– Бегу, лечу, ау! О, какой сюрприз!

– Счастлива, – кивает Элизабет.

Ожидание, однако, затягивается. В дверь барабаню:

- На выход давай! Ты чего там, эй!
- Голос Валенсии:
- Минуточку! Уже секундочку! А вот и я!

16

И является в шубе вдруг и с чемоданчиком на колесиках. И мимо проходит, не заметив. Очки только прощально сверкнули, опять в очках она. Не понимая, мы с Элизабет следом спешим, в лицо непреклонное заглядываем.

- Куда ты, куда? – бормочет Элизабет.
- Непреклонна. Хорошо, не безмолвна.
- На твой полоумный поезд вместо тебя.

Решимость такова, что мы с Элизабет просто на месте остаемся без надежды. Нет, семей, конечно, опять догоняя. И я чемодан у Валенсии вырываю, ухитрился, даже так. А Элизабет, вперед забежав, на пути ее встает, чтобы лицом к лицу.

- Причина?
- Я сама.
- Понимаешь, что не может так все кончиться, невозможно?

Шла как шла, шага не замедляя. Элизабет в сторону отскакивает, чтобы с ног не сбила, едва успевает. И, догнав, рядом опять идет.

- Подожди, Валенсия. Ничего еще не было.
- Все было. Ты не заметила.
- И чемодан свой у меня выхватывает, зазевался.

- Вы меня бросили, теперь я вас.
- К лифту подходит. Элизабет смотрит на меня:
- Какаду!
- Бесполезно, если уперлась. И в очках снова.
- Что значит?
- Прощается, всё.

И в лифт с ней сажусь. Элизабет, третья лишняя, на этаже остается.

Встаю на колено, еле уместился. За бедра обнял, за шубу.

- Стало еще противней.

– Права.

Поднимаюсь. Смотрим друг другу в глаза.

– Был такой с попугайской кличкой, чуть что – на колено падал. Еще, по слухам, у него член был огромных размеров, но стоял только в танце. Какаду, кто это?

- На некролог наскребла.
- Доживи. Слишком себя любишь.

Оказалось, мимо меня смотрит, в зеркало за моей спиной.

- А еще, если ты пакли свои носишь, следить надо, вон краска на затылке слезла.

Последнее непереносимо, я лицо, скривившись, ладонями прикрываю. Но она не знает жалости:

- И врал так искренне, что даже плакал – кто это?

Тут, к счастью, двери открываются, и Элизабет уже нас внизу встречает, по лестницам быстрее лифта успела. Валенсия, не церемонясь, ее привычно отталкивает и напрямик через ресторан идет к выходу. И я следом между столиков лавирую, угнаться не могу. Настигнув, опять пытаюсь выхватить из рук чемодан, завязывается настоящая борьба.

И вот мы разом замираем, оглушенные аплодисментами и даже овациями. То есть от неожиданности просто двинуться не можем, забыв про чемодан. Потому что в своем единобор-

стве вдруг оказываемся как бы на сцене перед большим обеденным столом, и зрители, отложив ложки с вилками, хлопают нам, не жалея сил, и выкрикивают приветствия.

– Валюша, – спрашивает один из зрителей, обращаясь к Валенсии, – скажи на милость, золотце мое, а что это такое, что мужчина у тебя чемодан отбирает?

– Это галантный он, – отвечает Валенсия, – не допускает, чтобы бедная женщина над-рывалась сама.

– А в шубе бедная женщина с какой стати? – продолжает допрос зритель.

– А прогуляться решила.

– С чемоданом?

– Еще что в чемодане, спроси! – подаю я недовольный голос.

Дальше так: мы перестаем существовать как трио, зрители вскакивают из-за стола и, заключив в объятия, растаскивают по сторонам. И мальчик с саблей в руке, подпрыгнув, уже у меня на шее виснет, я и глазом не успел моргнуть.

– Дед, дед! – шепчет, личиком своим к щеке моей прижимаясь. – Ты плакал, дед? Покажи! Кто тебя обидел, ты мне покажи только! Я ему!

И сильнее только к себе я внука притискиваю. И так расчувствовался мальчик, что сам заплакал.

17

Потому что люди близкие они, родные, и не танцы с ними – жизнь. Валенсия все не верит:

– Вот так сюрприз! Всем сюрпризам сюрприз!

– Малость вы нам смазали с этим чемоданом, что сюда вдруг явились, – сетует все тот же собеседник Валенсии, на чемодане зацикленный. – Должны были в зале нас увидеть, вот тогда совсем сюрприз!

Валенсия представляет:

– Мой благоверный.

Жмем друг другу руки:

– Виктор Иванович. Виктор.

У меня тоже имя есть:

– Герман Иванович. Герман.

– Ивановичи припадают! – провозглашает вдруг благоверный и, к моему изумлению, расставив руки, опускается перед женой на колено. И еще упрекает: – Ну? А вы что же? Не Иванович никакой!

– Научила? – спрашиваю Валенсию.

Она и не скрывает:

– Мы в тебя иногда играем, да.

– Увековечиваем. С полным уважением, – заверяет супруг, отряхивая брючину. И я смеюсь вместе с ним. – Вот, Герман. Наслышан, как видите.

– Как вижу, много интересного, Виктор?

Благоверный на Валенсию смотрит, улыбаясь:

– Предполагаю, только видимая часть айсберга.

– Давно растаявшего, – поясняет Валенсия.

Супруг руками разводит сокрушенно:

– В связи с всеобщим потеплением климата.

Добродушный он, со спокойной усмешкой, четки в руке умиротворяют. Другой рукой Валенсию обнимает, и она его тоже, крест-накрест они.

– Мы тут уже все перезнакомились, – сообщает, – и, можно сказать, даже притерлись, так что команда поддержки в сборе!

– Нам сегодня это очень нужно, очень! – кивает серьезно Валенсия.

Сменила, значит, гнев на милость, мы с Элизабет переглядываемся. У нее тоже теперь кавалер, он и вовсе на руках ее держит, как принцессу, и молодой совсем. Еще и певец вдруг оказалось.

– Слава юбилярам! Легендарному трио браво! – выводит на весь ресторан бархатным баритоном. Люди за столиками аплодируют.

– Роман – лауреат конкурса, поет в опере Риголетто! – гордясь, сообщает Элизабет сдвинуто: парень ее в страсти совсем придушил.

Благоверный доволен:

– Риголетто с нами!

– Не подкачаем! – подтверждает кавалер.

– Не подведем! – в восторге Элизабет.

– Если юное дарование не придушит, – заключает Валенсия.

И мне ласки перепадает, тоже возле меня женщина, а как же. Ростом маленькая, коротышка, приходится на цыпочки ей встать. Волосы мои с плеч собрав, в пучок закалывает и шепчет:

– Курочка. Ходишь курочкой.

– Что такое?

– Глаз, глаз, папа. Боком ты. Следи за собой.

– Ага. Принято.

И вот как-то само собой получается, что за столом мы уже среди приехавших, и вписались на удивление, как все стали, никакие не танцоры – люди просто, и люди обычные, добропорядочные, более всего трапезой озабоченные.

И перед нами официант навтыжку, пожалуйста. И кавалер Элизабет не сомневается:

– Суп для мадам!

– Я мадам, но суп какой? – интересуется Элизабет.

– Все знает человек. Предупрежден.

– В курсе, – кивает официант.

– Хотелось бы и мне, – капризничает Элизабет.

Кавалер обижается:

– Недоверие? Гороховый. Но без животных жиров, конечно. Просим прощения?

– Да, Ромка. Спасибо.

Благоверный Валенсии возмущается даже:

– Это какой же гороховый без свиной рульки, я извиняюсь?

– А вот такой. Протестный, считайте, – провозглашает кавалер.

– Ха-ха, против режима?

– Не ссать! Горох против свинины, ха-ха!

Благоверный тоже провозглашает:

– А для другой мадам как раз свинину! Насчет свинки как, золотце?

– Как вы страшно сказали! – вскрикивает Элизабет.

– А по-моему, ласково, нет разве? Свинка, – удивляется благоверный.

Элизабет головой качает:

– Тем отвратительней, ведь еще вчера бегала и у нее колотилось сердце!

– Кстати, тоже деликатес, хотя совсем не уверен, что вчера, – улыбается благоверный.

И Элизабет ему улыбается, друг другу они язвительно:

– Постами себя прочтите, а после свиней жрите, как свиньи!

Благоверный спокоен, строгий стал даже:

– Мы как звезда возгорелась. С сегодняшней ночи терпели долго-долго. Ты не трогай нас, родная.

– Свинку! – диктует официанту Валенсия.
И последние уже раскаты грома:
– Свинкой на сцене и будешь, – пророчит Элизабет.
Кавалер ее обнимает, шепчет:
– Моя звезда не на небе, моя вот она! Ты знаешь!
– Ромка, знаю.
– К твоей рифма напрашивается, – бормочет еще Валенсия, ее слово последним должно быть. И тишина, всё.
Мирно, усыпляя, звякает посуда, и внук у меня на коленке, супом его кормлю, на ложку дую, чтобы нечаянно не обжечь. Капризничает:
– Горячо!
– Подул.
– Мало.
– Ложку за меня, ну-ка!
– Обойдешься.
Удивляюсь:
– Платон, ёлки, век не виделись. Мог бы полюбезней. Ну, за маму тогда!
За маму все-таки проглотил, сжалился, тем более тут же сидит.
– Вер, – спрашиваю ее, – в темных очках чего? Удобней чтоб прятаться?
– Ага. Светобоязнь. Слезы сразу. Третий год в них.
– Третий год плачешь, то есть, пардон, наоборот, не плачешь? Вот денег возьмешь, раз приехала, сколько, не знаю.
– Спасибо.
– Сколько-то отслюнявят. Вер, тут бассейн у них знатный, между прочим.
– “Шератон”, между прочим. Из-за денег, думаешь, приехала?
– Думаю... Неважно, что я думаю. Смотри, какой Платон вымахал. Чего вообще молчишь? Хоть бы слово от тебя, а, Вер?
– Ты говоришь.
– Я, да. Ты уголек? Уголек или нет? В постель к нам, помнишь, с мамой по утрам залазила и обжигала, горячая такая?
– С температурой все детство.
Сквозь дымку ее проклятых хамелеонов вижу, как лупится на меня бесстрастно.
– Думаю, из-за бассейна ты, вот что думаю. Вон ты в купальнике уже. Брюки обтягивают, видно.
– Так пойдی еще купи, – оживляется. – Зад неформат!
Я снимаю с нее очки, мы смотрим друг на друга, сидя близко. Тянусь к ней, глажу по щеке:
– Доченька.
Она прикрывает глаза ладонью, загораживаясь.
А внук уже под столом, и ультиматум:
– Мороженое!
Приходится лезть за ним, вытаскивать. Непросто, он в грудь мне саблей упирается.
– Ты рыцарь?
– Я разбойник.
Под скатертью жизнь своя. Толстая ножка дочери выбивает нервную дробь. Ступни Элизабет, не зная покоя, в движении артистическом меняют позиции. А еще рука Валенсии сжимает ляжку мужа.
В мире явном, не тайном, когда возвращаюсь, Валенсия сообщает:
– Вот Витька бросился сломя голову, а это, скажу, катастрофа!

– Витька... Витька какой? – не понимаю.

– Да я Витька, я! – тычет в грудь себя благоверный. – Она что я сюда вот, а у нас дома ремонт!

– Представляешь, что там они нахерачат-напортачат, когда без хозяйского присмотра? – жалуется Валенсия и за рукав даже меня дергает. – Да мама не горюй, в ужасе я просто!

Другая рука ее под столом тоже, видно, свое дело делает, благоверный только выдавливает слова невразумительные, тем более еще и жевать приходится:

– Армяне, золотце.

Лицо Валенсии по обыкновению ничего не выражает, остается каменным.

– Что – армяне? Армянский коньяк лакают за здоровье Вити-лоха!

Дернувшись, муж в себя приходит, отринув вожделение. Судя по всему, сбросил страстную руку, и вот он уже прежний опять, с непобедимой своей усмешкой:

– А я вот армянам доверяю. Себе на уме люди, а добросовестные. Если б другие, допустим, работали, ну, всякие эти там разные, не хочу называть... Стоп, стоп, стоп! Мы ж не шовинисты, правильно?

Тут Элизабет голос:

– Внимание! Всем внимание!

И Валенсия уже в предчувствии:

– Всё! Понеслась! Держитесь!

Элизабет и впрямь выкидывает очередной номер, на этот раз задрав вдруг ногу над столом на всеобщее обозрение. И крутит своей неутомимой ступней с назиданием, показывает:

– Если б я тогда сделала вот так, то есть правильно, мы бы долго еще танцевали, а вас бы никого на свете не было. Но я сделала так, то есть неправильно. И вот вы. Приятного аппетита!

– Что, твоя ошибка? – спрашивает кавалер, не преминув чмокнуть ступню, благо прямо под носом у него.

– Ну, почему же. Импровизация.

– А партнеры не поняли?

– И не могли партнеры.

– А что ж ты тогда? – теряется в догадках кавалер.

– А ничего я. Просто все когда-то кончается, даже танцы, – удивляется вопросу Элизабет и все смеется, не может успокоиться. – Взмах ноги – и внук кланчит мороженое! Дай, Какаду, дай ты ему, уже я тебя слезно прошу!

– Ты попугай, дед? – изумляется внук.

И официант появляется, принес суп Элизабет.

– Протестный, свинья не ночевала! – торжествует кавалер. – И сейчас, минутку, мое признание. Готова выслушать? – спрашивает он Элизабет. – Твое, теперь мое?

– Просто вся внимание.

– А вот волнуюсь, – хитро щурится кавалер.

Уже и Валенсия не выдерживает:

– Да не тяни ты, господи!

И кавалер объявляет:

– Я суп сам приготовил. Ну, тут соображения гигиены, так что не совсем сам, но под моим руководством точно. Подтверди, – просит он официанта.

– Повар в обмороке до сих пор, – кивает тот.

– Поэтому разрешите, – кавалер зачерпывает суп, – первая ложка моя!

Едва проглотив, он откидывается на стуле и начинает хрипеть. Мы смотрим, оцепенев, потом, вскочив со своих мест, обступаем его запрокинутую бритую наголо голову. Благоверный Валенсии, крестясь, взывает напрасно:

– Риголетто!

Стоим беспомощно, что делать, не знаем, пока коротышка в очках-хамелеонах не растолкала бесцеремонно, грубо даже:

– Отвалите! Ушли! Я медсестра!

Быстрым, ловким движением она сует пальцы в разверстую певческую пасть и, как пинцетом, извлекает из глубоких недр ее косточку, обломок.

– Свиная, – бесстрастно определяет официант.

Неудачливый повар все сидит, зажмурившись, в поту, перепуган до смерти. И первым делом пробует голос, вспомнив, что певец. Рулады плывут по ресторану. Следом певцу приходит мысль, что он еще и кавалер и настает время открыть глаза. И Элизабет ненаглядную рядом не обнаружить. Партнершу ее Валенсию тоже. И меня, длинноволосого, за столом обеденным больше не увидеть. Сгинули мы, всё. Потому что трапезе конец.

18

Валенсия в платье, том самом, в которое влезла едва. Без трусов, а лицо все равно постное вечно. Элизабет с прикрытыми в блаженстве ресницами. И я перед переполненным залом на сцене, может, и боком чуть, но только не курочкой, а петухом боевым, виды выдавшем. И в восторге партнерши, тем более в танце заставляю до члена дотрагиваться, ручками женскими управляю хитро. И шепчет Валенсия:

– Спасибо, милый!

И Элизабет то же самое:

– Милый, спасибо!

Их, благодарных, в стратосферу я отправляю: одна за другой взлетают на железных руках-домкратах, и там, в вышине, Валенсия рычит по-звериному от счастья.

Танец весь от начала до конца под овации в “Шератоне”. Не фрагменты неуклюжие – целиком. И было ли: лица искаженные, ругань? Не было. А что возраст, хорошо и очень даже, потому что в аргентинском танго только души возраст. Кавалер Элизабет тенором бархатным прославляет нас, когда на поклоны выходим. И Валенсии благоверный на колено припадает, объятия распахнув:

– Браво!

А шустрый внук мой на сцену лезет, слезы на глазах:

– Дед! Дед!

И вместо меня уже публике раскланивается. Потому что столбом стою без движения. Осознать не могу, что живой.

19

После выступления сразу, в себя еще не придя, по коридору спешим. И Элизабет на радостях опять за свое – на пол повалилась и лежит.

– Не сейчас, милая, хорошая, не сейчас, – просит Валенсия. – Нам еще переодеться! И вниз скорей, бегом!

А я недоволен даже:

– Нашла время! Булат деньги обещал, ведь упрыгает!

Лежит, ноль внимания. Дальше по коридору бежим. Валенсия меня останавливает, было уже, театр этот:

– Смотри!

Ждем, когда встанет. Элизабет без движения. Но нас теперь не перехитрить:

– Пусть без зрителей доиграет!

Смеемся громко, чтоб слышала. И я за собой Валенсию увлекаю.

20

На прощальном фуршете Булат опять себя любит и ноги высоко поднимает, приговаривая:

– Прыг-скок! Я Попрыгунчик.

И со мной шампанским норовит чокнуться:

– Телки... Скажи, вот интересуюсь, “Я и две мои телки!”, ну, номер твой, это ты чего?

Тогда ж телки еще женщинами были!

И все он меня, гостей расталкивая, преследует, заклинило:

– Какаду, стой! Тогда ж в коровнике телки, а ты? Чего вообще такое, Какаду!

И вдруг останавливается он, обо мне забыв, потому что на Валенсию натывается, на лицо ее каменное.

– Элизабет! – кричит вдруг не своим голосом Валенсия.

Видит все она, хоть спиной стоит. По стенке, бочком пробираются санитары в униформе, с пластиковым черным мешком. Никто и не замечает среди праздника, одна во всем зале Валенсия только.

21

Съезжаем с берега на лед, застряли в снегу, ни туда ни сюда. Спрыгиваем наружу в метель, вытягиваем из автобуса Элизабет. И к кладбищу двинулись напрямик через реку, как хотели, только с ношей на плечах, с гробом. Команда поддержки громкоголосая, она же и похоронная теперь, в скорби немая.

И идем скользя, враскорячку к крестам на другом берегу, не чертыхаясь. А позади “Шератон” в огнях уплывает в снежном мареве, с окном вместе, откуда Элизабет на реку смотрела. Да уплыл “Шератон” уже, всё.

Скользим, скользим. Пока не валимся чуть с гробом вместе. И на снег скорей гроб ставим, крышку чтобы поправить, съехала. Мертвое лицо Элизабет возникает на мгновение во мгле, и теперь выражая превосходство над живыми. И кавалер молодой рыдает: “Мама, мама!” – потому что сыном ее, оказалось, был.

Пробуем по льду гроб толкать, но подняли опять, несем. Отстаю, вдруг Валенсия на руке тяжело повисла. Ни слезинки, губы сжаты, прячет отчужденно лицо...

Упала, за собой тянет, и я лежу рядом, пока она рыдает. Муж оглянулся издали и больше не оборачивается. Карабкается по склону за гробом, уже на другой берег затаскивают.

Мерещатся волки среди крестов, стоя вдруг в снежной пелене. И такое даже, что один среди всех бег замедляет. И вой будто тоскливый доносится.

Чуть не волоком за собой Валенсию тяну. Размахивает руками, стараясь ударить, не хочет идти. Горе сильнее, чем мое горе. Сбрасывает с руки перчатку, решив, что так больней мне будет. Хрюкнув, бью тоже, бью и тащу опять. Пока не притискивает она властно к себе, намотав на кулак длинные мои волосы.

И я не верю, увидев близко вдруг улыбку на нежном, залитом слезами лице, раскрытые в волнении навстречу губы.

Но тут все и меркнет, уже ничего не вижу. Меткий снежок залепил мой единственный глаз. Внук спуску мне не давал, тут как тут был.

Милый Ханс, дорогой Пётр

1

Весной сорок первого в цеху себя не помню, кто я, что и откуда, позабыл даже, что Ханс. Еще Вилли с Отто в аврале со мной возле печи стекловаренной. Отто закатывает горшок с шихтой в печь, и мы с Вилли мечемся по ступеням туда-сюда, как заведенные. От окна смотрового к топке на подземный этаж и к окну наверх обратно. Не люди уже – механизмы.

И варка за варкой. Снова печь на всю мощь запускаем и за стеклом побежали вдогонку. За собой сами угнаться не можем, на ногах уже не стоим. В многолюдном цеху выплывают и гаснут наши лица в завесе шихтовой пыли. Отто опять с тележкой-лафетом. И я с лопатой возле угольной топки. У окна смотрового Вилли. И Отто снова, мы с Вилли, и Отто опять. Заглянет Вилли в печь, и в глазах у самого стекло плавится.

2

Но люди мы были, хоть люди печи. И каждый волнение по-своему прятал, как умел. Грета, приникнув к окуляру спектрометра, изучала осколок сваренной стеклянной массы, наш осколок, и мы стояли вокруг, нависая над ней нетерпеливо. И придвинулись ближе еще, когда она подняла голову, оторвавшись наконец от прибора. Но вместо слов женщина легкомысленно сняла спецовку и, женщиной став, опять склонилась над осколком. Вилли совсем разволновался, что она в блузке, и положил пятерню на ее взмокшую шею, даже сжал слегка, но Грета не заметила. Мы все нависали над ней, и каменная складка губ лаборантки не предвещала ничего хорошего – целиком лица видеть не дано было.

Отто отодвинул женщину от прибора, приподняв вместе со стулом, и приник сам, тоже слился надолго. Нет, скинул еще очки, они мешали. Потом он встал и стоял удрученно без слов, только таращился близоруко. Вилли следом нагнулся и, глядя в окуляр, языком сокрушенно цокал, ухмылка при этом блуждала в усах. И я тоже посмотрел, и на прибор со злостью махнул, будто в приборе дело было.

А Грета все сидела, отвернувшись к стене. И вдруг вскочила, с искаженным лицом стала Вилли в грудь колотить, вспомнив ласку. А может, стекло бракованное или всё сразу, очень уж она отчаянно. Вилли терпел, кулачки ее в воздухе лениво ловил и опять ухмылялся. Не иначе, ухмылка была к нему приклеена.

3

И за столом потом весь вечер ни слова. При этом мы обходительны были и друг за другом даже ухаживали, спеша скорей тарелку передать или вовремя хлебницу с солонкой придвинуть. И Грете вместе все старались угодить, а она за нами сразу за всеми присматривала. Только молча это всё и мимо куда-то глядя. И в тишине посуда звенела, и помимо воли кое у кого животы урчали не в унисон довольно. И долго мы так в любезности взаимной, пока Отто не потянулся с солонкой к тарелке Вилли:

– Поухаживаю, вы не против?

– Сделайте одолжение, – чинно кивнул Вилли.

Отто стал трясти солонкой, тряс всё и тряс, но Вилли доверчиво оставался в рамках этикета:

– Достаточно, благодарю. Ну, много уже, пожалуй. Да слишком даже, куда вы столько? Отто в лицо ему рывкнул:

– А туда, куда и ты! Бракодел усатый! Как ты! Вот так! – И он показал – как, свинтив крышку и до конца опорожнив солонку перед носом Вилли. – Кадмий свой в шихту! Сыпал и пересыпал, гад! И стекло с пузырями! С шампанским вдруг! Что за праздник у нас, Вилли? Святого Йоргена?

– Святого Вилли! – рассмеялась Грета.

И в голос сразу все закричали, кто за столом был, и я первый, будто и ждал только:

– Цинк! Там цинк еще! Муть еще эта в сердцевине от цинка! Кто цинк забрасывал, кто?

И Грета, само собой, позлорадствовала, в стороне не осталась:

– Пузыри пузырями, так мутное еще! С ума, что ли, сошли?

Вилли, посидев с ухмылкой своей непрошибаемой, тоже уже кричал, присоединившись:

– Да все вообще мутное, все! Мы мутные! Чего мы здесь, зачем? Неделю жилы рвем!

Что происходит?

Отто тут же властным жестом все и остановил, что сам затеял, уже не рад был. И даже вдруг обиделся он, так показалось.

– А что происходит? Ну, ошибки, да, так не бутылки же, оптическое стекло варим, к чему истерики? И с хитрыми еще присыпками стекло, то пробуем, другое... – Он пожал плечами. – А вообще, мы это уже всё проходили в Йене, если кто запомнил. Тоже сначала ни шатко ни валко, а потом? Триумф! Ну, это я для паникеров, – усмехнулся Отто. И уже очками зловеще засверкал, становясь опять Отто, и мы притихли сразу под его острыми взглядами. – Впрочем, плохую работу не стоит списывать на наши опыты, не так ли, коллеги? Путать одно с другим? Я о санкциях, как вы догадались. Увы, будут самые беспощадные, предупреждаю. Ну-ка, Ханс, принесите бумаги, посмотрим по сетке, что же мы там не так!

А меня уже за столом не было, вернее, я уже входил с бумагами, научившись угадывать желания.

– Кстати, Ханс, не ожидал, что вы такая истеричка, – сказал Отто.

И взял бумаги, стал смотреть.

– Вилли, – пробормотал он, – на шампанское закрываю глаза, раз вы такой уж святой Вилли. Другой раз будет штраф. Третьего не будет: чемодан – Бремен!

– Гамбург, – уточнил Вилли.

Помолчав, Отто отшвырнул бумаги.

– Всем спокойной ночи. Приношу извинения за резкость.

Мы сидели, соблюдая субординацию, и ждали, когда он первым поднимется. И правильно, ведь и Отто все сидел, не вставал, кивая самому себе:

– В графике еле-еле. Но в графике, так ведь?

И вот все закончилось, он пошел к дверям. Но нет, обернулся еще, морщась:

– Вилли и Грета, игры ваши бросьте. Избавьте от скучных зрелищ.

Всё, ушел. Раздалось громкое чавканье: Вилли, отодвинув свою соленую тарелку, ел из общей кастрюли. Давился прямо.

4

Нет, и это еще не конец, наоборот, начало только, потому что ведь всё нам мало. Это с виду люди, а в жилах вместо крови расплавленное стекло бурлит. Вот Вилли вдруг из комнаты пулей в пустой коридор выскакивает! Все по комнатам своим уже, отбой, а он вылетает, и тут же ему Отто навстречу, как чувствует!

– Из Йены фасовка заводская! Из Йены! – хрипит Вилли. – Фасовка с кадмием, понял ты? Чего я там не так, когда фасовка стандартная! Моя рука только!

Отто в лицо ему хохочет:

– Вот! Рука, именно! Пьяная твоя!

– Да когда это я?

– Всегда! Фляжка в кармане!

Я из-за двери выглянул, глазам не веря: схватка вдруг, рукоприкладство! Да, ткнул Вилли Отто в грудь той самой пьяной рукой, посмел! И Отто ткнул Вилли прямо в ухмылку, обменялись! И мы с Гретой их разнимаем, руками машем тоже, но непонятно уже, кто кого и за что. Грета кусается даже. Что такое это?

Дальше так: Вилли как выскочил, так первым в комнату свою обратно и вваливается, из схватки выдравшись. И Отто, еще в дверь его побарабанив, за собой тоже дверью от души хлопает. И тишина вдруг, пустота, как ничего и не было. Мы с Гретой скорей по углам своим разбегаемся от греха подальше. И только хлопают за нами за всеми двери, хлопают.

А потом я не глазам, уже ушам своим не верю: неужели в коридоре опять?! Выскочил, а там Отто уже Вилли за грудки трясет, сам хрипит теперь:

– Говори! Цель твоя какая! С кадмием! Знать хочу! Цель!

И Вилли руку ту самую пьяную снова над ним заносит:

– Чтoб очки у тебя с пузырями, профессор!

А Отто в лицо Вилли опять хохочет:

– Э, нет! Ответ неверный! Ты подсиживаешь! Да! Ты меня! Мистер Кадмий! Отзовут, думаешь? Да тебя первого, если что! Я позабочусь!

И Вилли со своей ухмылкой опять:

– Написал уже? Когда ж успеваешь доносы? Между варками?

И вдруг голос мой у Отто за спиной. Нет, не я это, я в дверях стою, а голос мой сам говорит:

– Ночью он!

Отто удивляется, Вилли даже отпустил:

– Это ты, полторы извилины? Ау! Ты, что ли? Заговорил, смотри!

Но Грета из другой комнаты тоже выглядывает – выйти не может, разделась, видно, уже:

– Кто, с кем, куда! Прямой репортаж! На нас на всех строчит профессор...

– ...по доносам, – вставляет Вилли.

Отто, не веря, головой в лихорадке крутит, со всех сторон обложили.

– Отчеты не значит доносы! – кричит. – Я обязан в командировке как старший! Обязан!

– Про цинк напиши, что сам закидывал, не забудь, – напоминает Грета. – Что муть вся от тебя. Сам на себя можешь?

Отто на нее смотрит и головой качает:

– Ах ты, лиса, лиса! А ведь сама ждешь не дождешься, когда нас наконец с испытаний попрут! Что, нет?

– И Маттиаса с другой бригадой на замену пришлют, – вставляет опять свое Вилли, не удержался. – А ты покусала меня, лиса. Теперь бешенство, как?

Грета улыбается:

– Ты лекарство свое волшебное скорей. Фляжка где у тебя?

– В кармане левом нагрудном, – кляузничает голос мой. В дверях стою и стою, окаменел уже.

Грета все с улыбкой:

– С Маттиасом мы год врозь. Нет, полтора уже. Маттиас при чем?

И она из-за двери вдруг к нам выходит в волнении, как из-за кулис, забыв, что полуголая, и повторяет свой вопрос:

– При чем Маттиас? Был да сплыл Маттиас! – пожимает плечами, глядя удивленно, и сама себе будто удивляется. – Сынок у меня на руках, малютка. Это я уже с животом на свадьбе

была, ха-ха. Сейчас его на бабушку оставила, чтобы тут с вами. Потому что нам ведь жить не на что, и я очень от этого стекла завишу, понимаете? А вы всё варите, варите и никак? Не можете, да? Ненавижу вас! – кричит Грета.

Себя не видела, зато мы Грету всю сразу увидели, какая она на самом деле была. Резинки ярко-красные чулки на поясе держали и отвлекали очень от наготы, от пушистого холмика между ног даже. Мы замерли, не в силах от Греты оторваться, и она продолжала упрямо перед нами стоять, хотя понимала уже свое положение. Нет, не двинулась, спохватившись, опять свое только прокричала:

– Ненавижу!

И Вилли взвыл, отворачиваясь:

– Да пошли вы все!

А Отто бормотал, но во весь голос громко:

– Проклинаю тот день, когда с вами со всеми связался, проклинаю!

И руки то к небу театрально воздевал, то за голову снова хватался по очереди он.

5

К столу Отто опять пошел. Достал бутылку коньяка из буфета и на край присел. Пока наливал, мы с Вилли уже рядом встали, потом сели, но он на нас даже не посмотрел, от фужера не отвлекаясь. Не по-немецки полный фужер был.

Сам выпил и тоже нам налил, знал, что придем, не сомневался. И глаза поднял наконец:

– Что это, а? Что это было все?

– Необъяснимо, – выдохнул Вилли.

Я объяснил:

– Не знаем, что варим, и себя не знаем.

– Нет, себя сначала не знаем, стекло потом, наоборот, – подмигнул грустно Отто и опять в фужер свой налил.

– А сухой закон? – ухмыльнулся Вилли, вернулось самообладание.

– Сам на себя напишу, – всерьез кивнул Отто.

Вилли к фужеру не притронулся. Достал фляжку и, четко отмерив глоток, завинтил крышку. Напиток свой предпочитал.

Отто ударил по столу кулаком, быстро окосел:

– Мы знаем, что варим! Знаем! Мы варим оптическое стекло с новыми примесями! Увеличиваем многократно силу линзы! Чтобы совсем далеко и совсем рядом, как я вас! Вот как я вас сейчас! Вижу тебя, Ханс! Не надо с таким видом, будто лимон проглотил! Нет, мы знаем, мы это всё на своей шкуре! – Он всё кричал, потом смеяться стал и опять подмигивать, но весело уже. – А стекло не хочет, может такое? Ну не хочет стекло, чтобы многократно, бунтует! И так мы, и сяк мы, а оно всё ломается, как баба, капризничает!

– Хуже. Как целка, – пояснил Вилли.

– Да, сравнение в данном случае корректное. Мы, как ни крути, первопроходцы, а кто же мы? – согласился Отто.

– Вот и мы тоже капризничаем, я это и имел в виду, – закивал я, подводя итог.

Вилли опять из фляжки профессионально хлебнул, свое расписание было.

– Сейчас вот что у нас? Май, что ли, конец мая? И чего будет? А вот я сам не знаю, чего. С тридцать девятого дом строю под Гамбургом, третий год уже, так чего будет, спрашиваю? Я к чему подсчеты: в августе этом, сорок первом получается, как раз мне заем возвращать, так, нет? А если, ну, если сейчас, допустим, завалимся? Нет, мы не завалимся, ну а вдруг? Тогда вообще я без штанов, как Грета наша, только хуже еще! Заем на мне непогашенный, капут! – Вилли икнул, за фляжкой было потянулся, но повременить решил. – О чем я это, Отто? О том, что я

не человека подсизживаю, не тебя в данном случае, я стекло только! Один у меня стеклянный интерес! Да я вообще из вас из всех заложник первый! – взвизгнул вдруг он слезливо и глотнул всё же, крышку развинтил-завинтил. И сказал другим голосом уже, в улыбке расплываясь: – А дом под крышей уже! В Мёлль ко мне, в Мёлль! Рай, коллеги! В августе милости прошу!

– Принято! В августе! – опять закивал я, как заведенный. – А ну-ка, дружок, скажи мне, с рыбалкой там, в Мёлле, как?

Еще Отто вдруг к Вилли потянулся, руку его с силой сжал, у самого даже пальцы побелели:

– Вилли, не переживай. Получится.

– Не сомневаюсь, – ухмыльнулся Вилли. – Когда профессор сам, как зверь, с тележкой за троих!

– А кому же с тележкой? – удивился Отто. – Я с этими примесями сам всё затеял, один чудак на всю Германию! Кому же еще с тележкой, Вилли?

В волнении он очки снял и опять таращиться стал, пугать нас, непонятно на кого глядя. На самом деле всё к объятиям шло, давно пора уже было. И вот Отто к Вилли повернулся – и понятно стало, что на него смотрит.

– Претензии взаимные, ну, ерунда это, ну, чушь собачья, да? А, мистер Кадмий? Мы ж с тобой оба хороши, нет разве?

И они скорее притиснулись друг к другу лбами, и слезы пьяные на глазах стояли.

Вилли вставил все же, опять не удержался:

– К Хансу только претензий никаких, вот такой у нас Ханс!

– Как себе доверяю, не знаю почему, – выговорил Отто, с трудом уже, но выговорил.

Я плечами только пожал, что оставалось:

– Знаю, что делаю.

– И что же ты? – раздался вдруг сзади смех Греты.

– Что говорят, – отчеканил я.

6

И тут же оглушительно заиграл марш, и все сразу отодвинулось, что было, и потеряло смысл. Грета включила на всю мощь проигрыватель и уже ходила под пластинку у нас за спинами. Изюм всех сил тянула ноги на высоких каблуках и сама себе отдавала честь, на ней ведь пилотка с гербом еще была. Узкое платье особенно мешало, но Грета, спотыкаясь, упрямо вышагивала, а мы, едва поспевая, головами за ней туда-сюда вертели.

Потом она плюхнулась на стул рядом и, закинув ногу за ногу, приказала:

– Только не о стекле, договор? Не о стекле!

Отто скорее очки нацепил:

– О чем хочешь, моя золотая!

– А штраф сразу, тоже договор?

Мы закивали разом, на всё согласны были:

– Штраф! Конечно! Еще бы! Договор!

Грета выпила из фужера и достала портсигар, на нем свастика была выбита. Закурила, выдув высокой струей дым. И мы опять содрогнулись от ее близости, только даже сильнее еще. Привстав, она налила себе опять из бутылки, и Вилли хватило времени, чтобы положить ладонь на ее выпуклый скульптурный зад, сама ладонь пошла, помимо его воли. Грета ласково покрыла его руку своей, в другой фужер держала. И продолжала стоять, что сказать, не знала.

И сказала, как пароль:

– Свинец, Отто!

– Мимо! – отрезал Отто, сразу чудесным образом протрезвев.

– Эту паутину марганец еще дает.

– Пальцем в небо опять! – отмахнулся Отто.

– Отто, паутина по всему периметру, это что? Вот что такое это? – не унималась Грета.

– Это паук завелся, паучище в стекле!

Разговор вдруг поверх всего, слова – рапиры. Или остальное все до сих пор поверх было. И не Отто пьяный вдруг, а очкарик жесткий Грету глазами сверлит, накаляясь все сильнее от ее изысканий.

– Еще, дура, свинец приплела! Долго думала? С марганцем! А еще чего? Давай, ко времени как раз букет весенний!

И Грета, стальной струной распрямляясь, упрямый подбородок навстречу воинственно тянет, тоже Грета не Грета уже. И марш не слышен, хоть грохочет во всю мощь, что это?

– Отто, я на оптике за семь лет глаза сломала!

– Сломала, именно!

– Отто, нам самый раз в линзу на самих себя взглянуть, не находишь? И понять, что с нами со всеми сейчас?

– Или чтобы в линзу на нас на всех из Йены. Ты это? – сверкает очками Отто.

– Чтобы ты себя сам увидел, как глупо злишься!

– Для этого линзу сделать надо, только и всего, милая Гретхен!

Тут и я вступаю:

– Сейчас мы только пьяную можем!

– Зато патриотическую! – ухмыляется Вилли, уже потеряв над глотками контроль. Ведь ласковая ладонь Греты своей жизнью живет и гладит его, несмотря ни на что, и сам он тоже дрожащей рукой плоть ее округлую тихо жмет, и это тайна их.

Но ведь разрядил, снял он вовремя накал, молодец. И теперь все к Вилли оборачиваются, в глаза заглядывают:

– Ты к чему, Вилли? Патриотическую? Ты это к чему?

И кричит Вилли:

– К тому! “Парадный марш стрелков”, вот к этому!

И марш сразу опять к нам придвинулся, и Грета прежняя на стул снова плюхнулась, хохоча:

– Ну, штрафуйте меня, штрафуйте!

Содрогнулись мы опять, в какой уж раз. Сидела в пилотке своей, чуть расставив ноги, и на нас смотрела с призывом даже:

– Штрафуйте, ну?

Смеялась, что не шевелимся, призывам не внемлем. И вскочила, за рукава тянуть нас стала, пока за собой не вытянула и в строй маршевый не поставила. И шагали, ноги задирали, старались. Кроме Вилли, он на месте своем так и остался, не на шутку упершись, со злобой вдруг. Пьяный уже совсем, что ли, был.

И друг за дружкой, задыхаясь, опять мы приземлялись за стол, а Грета мимо шлепала и шлепала босыми ногами, о туфлях позабыла давно.

Отто сидел, обхватив голову руками.

– Перекликается, нет? – пробормотал вдруг.

– Что с чем? – слышал Вилли.

– Что-то с чем-то. Не знаю. Марш этот с чем-то. Нет?

– С чем? – не понимал Вилли.

– Чего еще не знаем, – кивнул я.

– Я зато знаю, понял сейчас, – сказал Отто. – Она линзу сделает. Вот женщина эта. Мы под кнутом ее.

Мы опять стали смотреть на Грету, и Вилли произнес с несвойственной ему задумчивостью:

– Интересно, она сделает, а вот кто из нас ее сделает?

Мы засмеялись, потому что и так было ясно кто.

– Нет, – замотал головой Вилли.

Я спросил, угораздило:

– А кто же, кто?

– Ты, – отозвался Вилли. – Ты, Ханс.

И все опять засмеялись, и я первый, не поверив.

Отто удивился:

– Чего не пьешь, друг Ханс?

– Смена, – напомнил я.

– Ну, поспать еще успеем, – успокоил Вилли.

Теперь удивился я:

– Сейчас смена, вот она!

В окнах темно было. Но сквозь марш гудок уже властно прорывался, первый, заводской.

7

А за стенами, оказалось, тоже жизнь была. Дрезина тускло фарами светила, нас поджидая. И люди в полутьме в прицепе сидели, вспыхивали папиросками. Мы полезли к ним в прицеп, и Грета только успела руками всплеснуть:

– Где мы, боже? Я забыла! Решила, глупая, что я в Германии!

Веселье еще гуляло в ней, и мы не без труда затолкали коллегу внутрь, сами запрыгнув следом. Дрезина пискнула и покатила по территории завода. Контур строения едва вырисовывались на сером небе, день все медлил, не наступал. Прицеп болтало на разбитой узкоколейке, колеса отчаянно визжали.

Отто, похоже, нравилось:

– Поселили в черте, у цеха. Удачно, считаю. Ближе к делу.

– Чтобы не рыпались за черту не дай бог, – кивнул Вилли.

– Интересует, что за чертой? – спросил Отто.

– Интересуют русские в той степени, в какой мешают нам работать, – изрек Вилли. – Мечтаю закончить и умотать скорей, с ума уже схожу.

– Читайте глотки, Вилли, мой вам совет, – проскрипел Отто. Бурной нашей ночи позади как не было.

Тут и я вмешался:

– А надзор, скажу, и впрямь строгий. Слишком даже, я так думаю. Провожатые эти надо не надо, за спиной постоянно шаги, куда годится? Туда не сверни, туда не посмотри! В общем, жизнь насекомых под микроскопом, а как же? Под линзой! – развеселился я. – Вот! Видите сами, все аукается, к чему бы?

И Грета зашебетала:

– Женщины в лаборатории огорчаются, когда я, извините, в туалет хожу по маленькому делу! И так искренне, ну вот до слез прямо, что я терплю даже, лишь бы все время у них на глазах!

Отто не слышал:

– Ну, нормальный режим безопасности, в чем дело? Есть же предписание нас охранять, в конце концов.

– Или от нас, – кивнул Вилли.

Отто в полутьме приблизил к нему лицо:

– Вилли, я вам не советую.

– Это я понял, – ухмыльнулся Вилли.

– Посмотрел бы, как это выглядело бы у нас с нашей подозрительностью и идиотской дотошностью, – сказал Отто. – Просто вы поменяйте всё местами и на секунду представьте, что это в нашей родной Йене.

Вдруг другие очки в прицепе блеснули, не Отто.

– Именно так все в Йене и было, только хуже еще, вы правы, коллега, – сообщил на чистом немецком языке один из наших попутчиков, на Отто, кстати, весьма похожий. – Но разница в том, что вы живете в доме сами по себе, а у нас день и ночь толклась прислуга!

Вилли был в своем репертуаре:

– Хорошенькая?

– Вся мужского пола, – вздохнул очкарик.

И мы вместе с очкариком рассмеялись. Он тут же перевел это своему носатому соседу, и тот просто зашелся в хохоте. И все в прицепе смеяться стали, но громче всех носатый, самый веселый оказался. А Вилли под это дело украдкой от Отто из фляжки своей хлебнул, ухитрился.

– Ведь мы тут все почти инженеры, поголовно, такие же, как вы! В общем, коллеги-оптики! И будем знакомы! – заключил очкарик с воодушевлением.

Дрезина встала на разъезде, пропуская другую дрезину с таким же прицепом, и там тоже люди сидели. Вилли вскочил и провозгласил трубным голосом:

– Да здравствует советско-германское сотрудничество! И советское на первое место ставлю!

Нам тут же начали из прицепа махать, и мы замахали руками в ответ. Носатый, не понимая, все равно кивал, и кивал одобрительно, и все хохотал без удержу, даже когда Вилли, резко снижая пафос, прыгнул с подножки и стал шумно мочиться на колесо прицепа. Один мочился, другой хохотал, и оба с удовольствием.

Мы опять поехали, и Грета удивилась простодушно:

– Так вы такие оптики, которые конвоиры?

– Чтобы вы не заблудились случайно, – нашелся очкарик, но усмешку едкую скрыть не смог, смелый был. – Не мы это придумали, что сейчас едем с вами, ну, вы же сами понимаете?

Голос Вилли опять все перекрыл:

– Гитлер со Сталиным придумали! Они!

И тишина тяжелая повисла. Носатый хохотать перестал и вздрогнул даже, услышав. Визжали колеса прицепа.

Очкарик сказал Вилли, понизив голос:

– Он тоже вам не советует. Не я это вам, он! – и кивнул на носатого соседа, и усмешка опять тронула губы.

– Много чего-то советчиков, – вздохнул тяжело Вилли. – Но к жиду твоему стоит прислушаться, верно? Жид он всегда жид и лучше нас знает!

Показалось, очкарик кивнул в ответ быстро, но так быстро, что, может, и впрямь показалось.

Отто вдруг сказал:

– Вилли, проветритесь-ка пешком. Вылезайте, Вилли.

Вилли к нему повернулся:

– Что это вы, профессор?

– Воняет от вас, невозможно терпеть.

– От вас не меньше, поверьте, – усмехнулся Вилли.

– От тебя по-другому, – пробормотал Отто.

Вилли только плечами пожал и вдруг легко и не без охоты даже покинул нашу компанию, спрыгнув на ходу в полутьму куда-то. Грета засмеялась, когда носатый попутчик сделал было движение за Вилли, но вовремя одумался. И смелый очкарик тоже рассмеялся, правда, отворачиваясь.

А заводские корпуса уже наступали на нас, сами словно шагали нам навстречу большими шагами, заливаясь ярче и ярче первыми лучами солнца. И тормозила дрезина. И тут я напоследок наконец разглядел женщину в углу прицепа, смог. Безучастно сидела в профиль, так ни разу и не повернулась ко мне, не посмотрела. Так что профиль только мне и достался: не юный, увы, совсем, и отчасти даже какой-то лошадиный.

– Тоже оптик-конвоир или конвоир-оптик наоборот? – спросил я очкарика шутливо про женщину, пряча непонятный самому интерес.

Очкарик махнул только рукой, явно интереса не разделяя:

– А, эта? Да просто по дороге ей, дочь в горшечном цеху, на трамбовке. Сама тоже здесь на заводе работает, а как же.

И тут по прихоти машиниста я пролетел чуть не через весь прицеп к этой женщине. Резкий тормоз ткнул меня в ее лицо, и я правда будто лошади в морду заглянул. А тело ее просто каменным было, я чуть не расплющился об стену.

Выполз следом за коллегами из прицепа полуживой, а Вилли чудесным образом уже встречал нас у ворот цеха.

– Вы все кольца свои по железке выписываете, а я хожу прямо, вот он я! – сообщил он, гордясь собой.

– Под колеса угодишь со своей прямоотой, – качая головой, предрекла Грета.

– Это всегда с нами, – отозвался Вилли.

Грета не поняла:

– Что с нами?

– Возможность, – пояснил усач, ничего не прояснив.

А очкарик подмигнул со смыслом, свое в голове было:

– Ориентируетесь, однако!

– Немецкий шпион, однако! – ухмыльнулся в своей манере Вилли.

8

Во рту у Отто свисток. Я мчусь на его свист вверх со своего подземного этажа. Да стою уже с ним рядом, а он все свистит, глядя на меня. Я выдергиваю у него свисток, и Отто говорит:

– В Йене получилось, а здесь херня. И херня за херней. Объясните.

Вот что он, бедный, высвистывал. И губы без свистка дрожат взволнованно:

– Приехали в рамках сотрудничества, явились не запылились! Вот они мы! Асы! Немецкие технологии хваленые и варки показательные! Анекдот, ну анекдот же, Ханс, с ума сойти! Русские животы надорвали уже, хохочут!

– Скверный анекдот, – не отрицал я.

Отто взял меня под руку, будто повел тихо куда-то, как девушку, но тут же закричал в ухо прямо, оглушил:

– Что такое это? Что? Тараканы в стекле с пауками вдруг, ресторан китайский! Что это, Ханс? С нами что, я вас спрашиваю? Нет, вы мне объясните!

И уже очки свои привычно снимал, хотел, видно, лицо руками прикрыть, слова исчерпав, но я удержал вовремя:

– Не надо, Отто.

Он улыбнулся криво:

– Это я к чему сейчас? Пластинку опять эту заезженную? Да наши вот по телефону только, пять минут назад... И по морде мне, по морде, хорошо, по телефону. Рвут и мечут. Еще, значит, варка одна-другая, и чемоданы пакуем, всё. Под зад ногой называется!

Перерыв как раз был, рабочие по цеху без толку ходили. Стекло в горшках под кожухами остывало между варками.

Отто под руку меня опять взял, о себе напоминая:

– Так делаем чего, друг Ханс?

– Варка одна-другая, – пожал я плечами.

– Еще олух наш бедный спился совсем и мозгами, кажется, всерьез поехал, вы не считаете? – вздохнул Отто.

Олух не заставил себя ждать, тут же и явившись собственной персоной. Но с ним еще девушка юная была.

– Из горшечного цеха леди, – представил Вилли оробевшую спутницу. И хохотнул, конечно: – С горшка прямо снял, а ей биде, по-моему, в самый раз уже!

Отто, не услышав, сообщил мне, и тон приказной был:

– Она сегодня будет у вас на подхвате.

– Кто? – удивился я.

– Вот она, она, – повторил Отто хмурясь. Не иначе был свой уже план действий, вопросы раздражали.

– У меня есть Пётр на подхвате, и мы вполне, по-моему, справляемся, не так ли? – возразил я.

Но и Отто возразил, набрался терпения, как мог:

– Лишний глаз не помешает, Ханс. Вы, разумеется, справляетесь выше всяких похвал, да вы вообще у нас как белка в колесе, но ведь это и плохо? А мне вот важно, чтобы один кто-то всегда находился возле пирометра, то есть даже совсем безотлучно, вы это понимаете? – Нет, сорвался он, зашелся в крике: – Безотлучно, я сказал! Вообще ни на шаг! За температурой чтобы в оба глаза! И сегодня я лично буду засыпать все до одной присадки, вот этими самыми руками, вот лично я и никто другой! – чуть ни визжал уже Отто.

Да, план был у него. И мы молчали.

Девушка стояла, замерев, с круглыми от страха глазами.

– Маленькая моя, прости меня, я не в форме сегодня, – даже всхлипнул вдруг Отто. И стал девушке, как мог, жестами объяснять, что дальше будет, на горшки под кожухами кивать. А как он мог: вот пальца два показал, мол, вторичная намечается варка. И потом еще горшкам долго грозил, выкатывая глаза, что главная будет эта варка, главная самая! Девушка кивала в ответ и улыбалась уже.

Вилли заметил, как всегда двусмысленно:

– Юная леди не так наивна, не заблуждайтесь. Она во всех на свете процессах искушена, в том числе даже стекловарения.

Голос мой вдруг произнес отчетливо:

– Мерзости несешь, пользуясь, что человек не понимает?

На беду свою, девушка кивнула опять, приведя Вилли в полный восторг.

– Видишь, понимает и даже хорошо очень, у меня на такое глаз!

И тут я бросился на него с кулаками:

– Ты сейчас его потеряешь!

Я сам не ждал от себя такой прыти, целясь и впрямь в глаз. Вилли играючи отразил мой наскок и удивился:

– Ханс, Ханс, бог с тобой, ты чего это?

Отто взревел:

– Вон! Все пошли отсюда! Вон все, сказал!

Девушка шарахнулась от него, бросившись наутек. И мы с Вилли следом за ней двинулись, что же оставалось.

– Ханс, оставайтесь, – услышал я сзади зов Отто, и Вилли на это рассмеялся сдавленно.

Я вернулся. Отто молчал, на меня не глядя. Стоял, прикрыв глаза, шевеля губами. Я понял, что он молится. И тоже зашептал, но, жмурясь, все следил, когда он закончит.

Отто обернулся с усмешкой:

– Вы не ответили на вопрос, Ханс.

– Какой же?

– Этот. Почему не так всё?

– Нет ответа, – сказал я.

– Черт возьми, неудачная какая-то весна.

Я пожал плечами.

– Может, там, на небесах, что-то, как думаете?

– Не в нашу пользу, – кивнул я, чтобы кивнуть. Он меня замучил.

Мы оба задрали головы и вместо небес увидели крышу цеха.

– Пойдем, – сказал Отто.

– Куда?

– Не знаю. Отсюда. Пока горшки стынют.

Цех проветривался между варками, и огромные двери будто как раз для нас распахнуты были.

– Русских позови, – приказал Отто.

9

Может, с полдюжины их, сколько, и такие же, конечно, люди они печи. С кровью в жилах с нами одной, стеклянной. И напарник мой Пётр с женой среди них. И девушка еще эта, Отто мне навязанная, тут она как тут, в ряды уже наши влилась. Русские – не русские, вперемешку все на солнышке греемся, хлебом немецкий лимонад перед авралом большим.

И денек редкий вдруг такой, незабываемый, спасибо Отто. Минуты просто райские на берегу пруда в зоне индустриальной. На траве пикник среди отвратительно коптящих труб, бывает разве? Русские сосут из диковинных бутылок, из горлышек прямо, нам же бокалы несправедливо предоставлены. Отто исправляет положение, и мы, его примеру следуя, тотчас галантно передаем бокалы женщинам. Ветерок шальной халаты их рабочие задирает, и визжат они радостно, белье уродливое руками отчаянно прикрывают. И в унисон визжат вокруг рельсы под вагонетками с глиной, грузовики рычат на подъемах, и живет жизнью своей завод, никуда не делся. Это мы бригадой целой делись, далеко с лимонадом куда-то запропалились.

Пётр мой заерзал беспокойно, показывает, мол, на печь ему пора, труба уже зовет. И я трудовой его порыв на нет свожу: сиди, Пётр, грейся, работа не волк, да когда еще будет такое? И всё жестами мы это, жестами, доходчивее оказались всех слов наших. И сидит Пётр, глаз с меня теперь не спускает, ожидая команды. Он возраста одного со мной, под сорок, зрелый мужик уже, с лицом правильным и открытым, доверие одно только внушающим. Но ведь и неясность в лице этом, не простота там своя тихая, и вроде уклончивость даже, если хорошо приглядеться. Честно скажу, я сам на себя сейчас смотрю.

А Вилли тем временем жену Петра издали дразнит, все уговорить не может. Смачно горлышко сосет и показывает, как сосет, вот что придумал. И полногрудая Наташа не понимает, но волнуется. Круглое лицо смущенно ладонью прикрыла, огненно-рыжие волосы ветром вздыблены, и сквозь пальцы горячо глаз горит, от мерзостей Вилли не отрываясь.

И жестом я, лишь жестом одним Петра своего поднимаю вместе с женой глупой, и вот они вдвоем под ручку уходят уже, как же просто всё. Впрочем, еще оглянувшись издали Наташа, было такое.

И тут, конечно, слова опять, слова, и уши уже вянут.

– Дон Жуан немецкий, здесь это дело тюрьмой карается, это я вам в порядке информации.

– Отстаньте от меня, профессор, прошу.

– Я вас предупредил.

– Да что карается, что?

– Связь вот с вами, с усами вашими. Ей тюрьма, вам триппер, это что, корректный размен, коллега?

Молчание, тишина. И громкий всплеск воды. Открываю глаза: Вилли плывет мастерским кролем, пересекая пруд. И возвращается уже. Быстро он, раз-два. И на берегу опять, рядом. Объясняет:

– Чтобы не задушить вас, профессор.

И вытягивает мускулистое тело на солнышке. Жмурясь, спрашивает разморенно:

– Отто, вы себя сами понимаете?

– Вполне, думаю, – удивляется Отто.

– Карьера главное?

– Допустим.

– Я себя в последнее время не очень. Но скоро, кажется, пойму, – обещает Вилли.

Отто смотрит на него:

– Вы продолжайте, что хотели.

– Профессор, вы человек приличный и сердечный даже, как ни странно, да?

– Сентиментальный немец. И?

– И всё, – ухмыляется Вилли жмурясь. – Отто, вам давно пора определиться. Вы туда или сюда?

– То есть?

– Ну, вы слишком ненавидите этих глупых курочек.

– Каких еще? Вилли, выражайтесь яснее.

– Ну, женщин. Женщин, Отто. Ненавидите.

– Еще, Вилли, яснее, пожалуйста, – просит Отто. При этом убирает руку с моего плеча.

Вилли садится на траве и, перевернувшись мгновенным кульбитом, делает вертикальную стойку на руках. Встав опять на ноги, ухмыляется:

– Спокойно, Отто. Я их тоже терпеть не могу. А меня они любят, только глупые курочки эти, беда.

Разволновавшись, он начинает шарить по голой груди в поисках фляжки, и дергает сам себя за сосок, пытаясь отстегнуть, как пуговицу. И они с Отто смеются оба.

И тут я понимаю, почему налетел на Вилли в праведном гневе, озарение вдруг. Вот она смотрит доверчиво, глаз с меня не сводит, девушка эта с трамбовки, из цеха горшечного. И внезапно проступают на нежном лице черты лошадиные, и я в девушке угадываю хмурую ее мать. Жеребенок прекрасный, но была ведь настоящая лошадь, не так ли?

И еще другой взгляд я перехватываю, и ночь в нем, одна только ночь. Это Грета смотрит неотрывно. И на лице ничего, никакого выражения, просто сидит и смотрит на меня издали.

– Ого! – оценивает Вилли, чуть сам от огня вдруг такого не вспыхнув. – Ну, я же говорил? У меня и на это глаз!

Отто в бок толкает:

– Ханс, пирометр! Безотлучно!

И гудок уже дают, значит, остыло стекло и заново варить время. И Пётр с Наташей руками нам машут от ворот цеха.

Встаем все разом, бутылки подбираем пустые, а Отто сидит как сидел.
– Ханс, что вы там про небеса?
– Вы это, Отто.
Снова головы вверх задираем. И плывут над нами облака, плывут.
– Не знаю, – говорю я.

10

Что-то не так было на небесах. Не в нашу пользу, точно.

После лимонадного пикника грохнула печь, и очень скоро, едва запустили. Взорвался один горшок, тут же и другой, нижний, и масса расплавленного стекла, пробив кладку, хлынула наружу. Ослепительная струя взвилась с шипением над цехом, осветив добела перекошенные ужасом лица рабочих. Люди побежали, поползли, тысячеградусные брызги летели за ними вперемешку с битым кирпичом, каленые ручки по цементному полу катились следом, настигая.

Было так: девушка Отто стояла у пирометра часовым и глаз с циферблата не сводила, как профессор велел. Стрелка уже застыла у красного деления, обозначая температурный предел, всё. Я бросился вниз к Петру, он там забрасывал уголь в топку, и я метался между ним и внимательной девушкой на разрыв. Вот и сейчас слетел по ступеням, и Пётр поднял голову, ожидая команды. Но я почему-то не приказал ему умерить пыл, а наоборот – велел еще поддать жару. Да вообще вырвал вдруг из рук лопату и начал кидать уголь сам, вот как было. Девушка Отто уже в тревоге сбежала к нам вниз, на свою беду сбежала. И стояла с круглыми от страха глазами, я уже видел у нее такие глаза. Пётр навалился на меня, пытаюсь вырвать лопату, но я легко отбросил его на угольную кучу, сила была какая-то удесятенная. Успел прочесть ужасный вопрос в его глазах: что это?! И, забыв о жестах, по-немецки прокричать: “Не знаю!” Опять лопатой работал как сумасшедший, и тут Пётр в затылок меня шмякнул, оглушил.

Волоком меня через цех тащил. Я близко видел его лицо, пену на губах, пузыри. И круглое глупое лицо жены Наташи мелькнуло. И Отто очки, и Вилли усы мне свои в нос совал. Гас свет и вспыхивал снова, аварийный. Побежала по цеху в полутьме девушка-факел, хотя уже непонятно было, что девушка. Рабочие свалили ее, стали телогрейками сбивать пламя. Зарывав, я дернулся и вскочил на ноги, потому что это горел мой жеребенок. Я размахивал руками, но Вилли с Петром утихомирили быстро, заломив эти самые хлеставшие их по лицам беспокойные руки. Вели под конвоем, переходя из цеха в цех, пока наружу не вытолкнули, и Вилли сунул мне в зубы фляжку, расщедрившись. Я глотнул и закрыл глаза, и стоял так слепым, пока не взвыл от боли, тронув себя за щеку.

– Ожог, – взглянув, оценил Вилли. – Ты меченый теперь.

А Пётр в грудь ткнул: ты! Вилли думал, что поддержка такая дружеская, но я по-своему это воспринял, как надо. И Пётр понял, что я понял.

11

Я шел за гробами. Один большой был, другой поменьше, мой. Впрочем, и большой был мой. Я маневрировал в толпе, догонял в порыве гробы и тормозил в последнюю минуту мало-душно. В большом разглядел плечи покойного исполина, успел. А маленький оказался под крышкой, смотреть не на что было, значит. Дождь хлестал в лицо.

Руку мне кто-то больно сжал, я увидел рядом Грету. И потянул ее за собой снова в порыве, но также вместе с ней опять и отстал, и больше уже не рыпался. Пластырь смыло у меня со щеки, и Грета искала его по лужам, выпячивая зад в элегантном йеновском комбине-

зоне. А я в хмурой толпе не выделялся ничем, в рабочих шароварах и ботсах был, как и все, стекловар такой же.

Шли в хвосте, без лишних уже телодвижений. Грета опять схватила меня за руку. И к плечу даже прижала лицо скорбное.

– Меньше скорби, – сказал я.

– Ханс, это дождь.

Она стала напрасно утирать ладонью лицо, и правда был дождь. И я, может, тоже плакал.

Вдруг она языком лизнула мою раненую щеку, я не заметил. И все-таки спросила:

– Мне казалось, ты был знаком с ней?

– С ее матерью, – не замедлил с ответом я.

Почему-то она удивилась:

– У нее есть мать?

– У тебя же есть.

– Умерла этой зимой, – сообщила Грета.

– Плачь тогда, плачь, – разрешил я.

И на мать тут же напоролся, сам себе накаркал. Прямо глаза в глаза с лошадьё, но ничего не значило. Опять отвернулась, у могилы уже стояла. И спины между нами сомкнулись, разделив навсегда, всё.

Грета догадалась, усмехнувшись вдруг не к месту:

– Она?

И закричали, опуская гроб в землю, рабочие, но уже толком не разглядеть было. И мокрые комья полетели, шмякаясь о деревянную крышку. У обеих могил бабы в два хора заголосили, и у той, исполинской, громко особенно.

Я стоял столбом. Грета догадалась опять:

– Ханс, я за тебя, так?

Ушла, вернулась. Смывала и смыла в луже с рук землю кладбищенскую.

– Идем.

Мы двинулись в обратную сторону. И она привычно уже, по-хозяйски взяла меня под руку. Но еще в лицо вдруг зачем-то заглянула:

– Эти двое – они первые. Две первые жертвы, понимаешь?

– Да, – сказал я. – О чем ты?

Грета рассмеялась:

– Ни о чем. Но ты все правильно понял, Ханс.

Шли и шли. И вдруг Пётр с рыжей женой в многолюдье рядом совсем, лица их близко. Я к ним руку протянул, и они, пряча лица, чуть не отпрыгнули в ужасе, побежали от меня. Я дернулся следом, но Грета тут как тут была, и голос строгий, командный:

– Немец, не надо за ними. Или русский уже?

Веревки из меня вила, крепче все прижимаясь:

– Сейчас в шахматы, когда вернемся.

– Замучила шахматами, Гретхен.

– Е2–е4. Сразу встанет все на свои места, поверь.

– Все и так на своих, – удивился я, и Грета засмеялась.

Тут мы Вилли с Отто увидели в таких же, как у меня, шароварах и ботсах, в толпе напорились. Вилли как раз протягивал Отто фляжку, подмигнул нам:

– Помянуть решил профессор.

Отто выпил, но тут же его и вырвало прилюдно, вывернуло буквально наизнанку.

12

Сидели, вымокнув до нитки. Как пришли, так и сели в столовой без движения, с лужами уже под ногами. С самих дождь все лил и лил, а мы сидели. Слабость вдруг минутная, мрак. Отто взбодрил, влетев вдруг выбритый чисто, в свежей сорочке, когда успел только. Кошунственная улыбка во весь рот особенно впечатляла.

– Как говорят наши лютые друзья англичане, у каждой тучки своя серебряная подкладка? Или подстежка, Ханс, как правильно?

– Подстилка, если англичане, – отозвался я.

– Их, их поговорка, английская! – кивнул Отто, погрозив недругам пальцем. – Я к тому, что это все к лучшему даже, пусть бог меня простит. Шанс опять получаем. Йена внимание с нас, таких-сяких, на горшки теперь, что они рванули, и мы работаем спокойно, только и всего! Работаем! – Отто не мог скрыть радости, просто не в силах был. – Ну, вот, Вилли, не такой уж я сентиментальный немец, пусть бог опять простит!

– Опять простит, – кивал ему Вилли.

Отто на радостях перед нами как артист был со своим сольным номером.

– Русские, кстати, признают, что их тут с горшками вина, делает честь, согласны? С другой стороны, как же не признать очевидное, когда горшки вдребезги? Новое какое-то их, что ли, месторождение, оттуда и глина эта слабая. Теперь комиссию они сразу, следствие, быстро это у них. Ну, я обрисовал вам, коллеги, в общих чертах, что у нас и как?

– А следствие при чем? – спросил я.

Отто удивился:

– Да ни при чем. Вообще никаким боком. К нам вопросы какие?

– Еще не хватало, – возмутился Вилли.

Я все не понимал, хотя отлично понимал.

– К горшкам, что ли, разбитым вопросы?

Грета проявила осведомленность:

– Свои своих дергают, русских таких же. У них же вечная борьба с этим, как его, вредительством, всегда начеку!

Отто рыгнул громко:

– Вилли, злодей, что за пойло? Ханс, если в тему углубляемся, кто там с вами рядом еще был, ну-ка? Пётр ваш, потом, значит, девочка эта несчастная? Ну, рыжая еще, жена Петра, так?

Я разозлился из-за рыжей.

– Не так. Жены Петра рядом не было, при чем жена?

– Потому что жена. Забыли, где находитесь? Вы вообще дергаетесь чего, друг Ханс, непонятно? – спросил Отто.

И замолчал, помрачнев. То словами сыпал, чуть песни свои не пел, пока с нас дождь стекал, а тут вдруг как язык проглотил. Очками сверкнул:

– Нечего мне тут сопли. Такое не бывает без жертв, то, что мы делаем.

Вилли голову сразу поднял, как ждал:

– А что мы, профессор?

Отто посмотрел на него:

– То, что может пригодиться.

– Русским?

– И нам тоже. Закроем тему?

– Мы не открывали, – ухмыльнулся в своей манере Вилли.

Тишина повисла. Тут Грета в волнении пролепетала, никто и не понял:

– А на Ханса не наговорят? Что он там что-то не так и не то? – Совсем с ума сошла. – Вот рыжая эта? Она опасна!

– Это почему же? – вздрогнул я от удивления.

– В тебя влюблена, – сказала серьезно Грета.

Вилли обиделся:

– Все влюблены в Ханса, но рыжая, чур, в меня!

И мы расхохотались, Отто громче всех.

– Ну вот, коллеги, обрисовал вам положение. Да само все обрисовалось полностью, как есть. – Опять он веселый стал, бодрил: – Утром печь запускаем. Русские за три дня отремонтировали, стахановцы!

– Это кто ж такие? – не понял Вилли.

– Кто – не знаю, это сами про себя они: мы стахановцы! И печь на ходу, пожалуйста! И утром мы не тетери мокрые – немцы упрямые! В строю все! Не слышу криков “ура!”.

Отто один прокричал громко и сам же ладонью рот закрыл, радость неуместную спрятал, чтобы бога опять не поминать. Или это позыв рвотный его снова настиг, всего скорее. Уж быстро очень покинул нас, пулей из столовой выскочив.

А Грета неутомная мне уже издали фигуру показывала, короля белого, темпа не теряя. И доска шахматная у нее неотвратимо под мышкой торчала.

– Вилли, – взмолился я.

И усач в глазах моих такую тоску разглядел, что доску из подмышки у Греты без церемоний выдрал:

– Принимаю огонь на себя!

И фигуры уже на доске, кряхтя, расставлял. Грета, осознавая подмену, отвлеклась на мгновение. И как не было меня в столовой, след простыл.

13

Калитка настежь, крыльцо. Пётр оборачивается в прихожей, глаза из орбит лезут: ты, это ты?! Как сюда?! Откуда?! Задрав нос, воздух с шумом в себя вбираю, волка изображаю, что ли: нюхом сюда к тебе, чутьем звериным!

На колени перед ним падаю. И палец к губам своим: молчи! И вскочил снова, сочувствия ищу, жалости, не плачу чуть: двое детей у меня, двое! Ладонью одной рост повыше показываю, другая к полу близко, мол, второй у меня маленький совсем, крошка! И к губам палец снова: молчи! Молчи, Пётр, умоляю!

Стоим в прихожей темной. И ужимки эти, жесты без конца. Язык с Петром наш простой, и слов он понятней. По очереди пальцами друг в друга тычем: “Считаешь, я это устроил, аварию, вот я? Вот я?”

Удивлен Пётр: “Ты! А кто ж еще? Ты!”

“А ты? Ты, что же, ни при чем тут?”

Головой мотает. Бью его в лицо, потому что мотает. Валится в прихожей, хлам какой-то под ним трещит. Встает, но согласен уже, кивает: “Да, и я! И я!”

Я веки на глазах у себя, не жалея, пальцами раздираю, для него стараюсь: “Ты видел все, видел ведь? Ты был там! И ты, значит!”

Опять кивает обреченно: “Да, ты и я! Оба! Повязаны!”

Пальцы скрестив, решетку ему под нос сую, участь его обозначая. Пётр, головой покачав, усмехается: “Хуже!” – палец к виску себе приставляет, участь свою возможную лучше знает. Языком щелкает, выстрел изображает.

Прошу его в ответ меня ударить. Не хочет. Потом бьет несильно, чтоб отделаться. Валюсь как подкошенный и лежу без движения, делаю вид, что в нокауте. Пётр смеется, и я смеюсь. Поднимаюсь, стоим обнявшись.

Но страх снова током пробивает. В воздухе отчаянно пытаюсь очертить круглое лицо рыжей: “Она знает?”

“Ни сном ни духом, что ты!”

Взгляд при этом уклончивый, мой. Понимаю: жена знает!

Еще понимаю: пьян. Покачнулся и жестом широким в дом за собой зовет. Я уперся, стою намертво: “Немец в доме, вам с рыжей петля!”

“Петля, но ты должен у меня побывать, плевать я хотел!”

Плюнул он, харкнул даже смачно, как смысл не понять, когда смелость настоящая. И тащит за собой уже, вцепился, чуть не стонет. Встал, зашатался опять, силы все отдав. Но вроде теперь идея у него, осенило: палец к губам снова вдруг прикладывает.

Не понимаю, запутался: “Не дури. Ты чего?”

Он все палец от губ не отрывает: “Молчи!”

И встали у самого порога, заминка вдруг. Жесты с ужимками не помогают со словами даже вперемешку. Нет, не понимаю, чего он от меня хочет. Ну, потом и меня осенило, моя, значит, очередь. А может, это жестов количество в качество перешло, не знаю. Но очень я удивился: “Немой я, что ли? Это как? Совсем, что ли, немой?”

“Совсем, да! Совсем!”

И Пётр головой затряс, просто счастлив был. На радостях выговорил даже по-немецки, словарный запас весь на этом исчерпав:

– Немец, добро пожаловать!

И пошел за ним в комнату я, и понял, почему теперь я немой.

14

Потому что немец в доме и впрямь петля, для хозяев горе. А за столом в комнате, кроме Наташи рыжей, еще подружка ее сидела свидетелем. И сразу взгляд на меня нацелила, глаза свои живые очень. Не знал я, о чем Пётр женщинам говорит, только ясно было, что на опережение сразу идет, молодец.

– Братишка мой на огонек! – объявил он, не иначе меня представляя.

И я раскланялся, угадав.

– Ну, близнец братишка прямо! – всплеснула руками живая девушка.

– Близнец не близнец, но похожи, да, – кивал мой Пётр. – И разницы между нами, правда, всего-то пять минуток!

– И кто ж старше? – оживлялась все сильнее гостья, на вид тридцати лет.

Поколебавшись вдруг всерьез, Пётр все же в меня пальцем ткнул ревниво:

– Он!

Я только о смысле разговора догадывался, предполагал смутно, о чем они. Но, не понимая, понимал, что слова при игривости всей опасные и что рыжая Наташа уже к игре этой подстроилась ловко, вопросы свидетеля заранее отсекая:

– Из Саранска он, уроженец Мордовии. Сейчас в командировке по соседству тут в Угловом, в рабочем там общежитии.

Пётр настойчиво меня при этом к двери подталкивал в соседнюю комнату. Но гостья еще спросить успела, на щеку мою показав:

– А это у него такое чего?

– Производственная травма, – не соврала Наташа со вздохом.

– И все молчит в тряпочку!

– Немой братишка, такой вот, – развел руками Пётр.

Девушка прямо в восторг пришла:

– Немой хорошо. Не узнает никто!

Она все хохотала, облокотившись на скатерть, звенели даже рюмки на поминальном столе. И вдруг в мгновение ока я оказался у нее в руках. Каким-то чудесным образом сам включился проигрыватель, быстрые пальчики гостьи пластинку завели, и вот хохотушка уже вела меня в танце. Но тут же и выяснилось, что с виду только такая она шальная, от скромности своей и зажатости, и это куда мне понятней было, чем русский язык. Я пальпировал ее худые ребра, и бедняжка деревенела все сильнее и смущалась, волнуясь по-настоящему. В конце концов уже чуть не плакала, избегая встречаться со мной живыми глазами. И тут же Пётр грубо довольно наши объятия разомкнул:

– А денек-то, того... ну, для танцев не очень подходящий.

Партнерша моя к рюмкам опять приземлилась и сказала голосом звонким:

– А Зойка рада была бы, вот рада! Она танцевать сильнее всего любила!

Пётр воспользовался, что я свободен временно, и скорее втолкнул в эту самую соседнюю комнату.

15

Тащил и притащил, зачем? Комната как комната, клетушка, кровати две влезают еле. Дети Петра сопели во сне, свет лунный сквозь шторы на лица пробивался.

Пётр на детей кивнул: “Видишь, как у тебя, двое тоже”.

И мой сразу вопрос: “Тебя вызывали уже?”

Пётр и не понял, от жестов отвыкнув.

Пальцы мои пробежались по спинке детской кровати: “Приходили уже к тебе, да или нет?”

Он махнул мне: “Сядь, садись”.

Я кое-как присел в тесноте.

– Да или нет? – спросил, забывшись, по-немецки, волновался.

Брат-близнец сидел, схватившись за голову. И на луну отвлекся: “Луна, плохо. Подстрелят. Могут”.

Показал, как подстрелят, пока бежать обратно буду. Жест отработан был: палец к виску, моему теперь. И головой замотал: “Нет. Не было никого. Тихо всё”.

“Хорошо, если тихо”.

Усмехнулся Пётр, глаза блеснули: “Страшней еще”.

Мы замолчали. Дети сопели, один похрапывал даже.

Пётр ко мне придвинулся, на лице мука была: “А вдруг они?.. Не знаю, выдержу или нет, боюсь”.

И засмеялся громко, кукиш показал: “Вот им!”

Я смеяться тоже стал, показывать. Макушку свою демонстрировал: “Лопатой меня огрел!”

“Я?”

“Ты. Забыл?”

Дети от нашего буйства притихли и опять засопели.

Пётр поднялся, я удержал: “Посидим. Посидим еще”.

И мы всё сидели, потеряв счет времени, и дети под опасной лунной мирно сопели. Я понял, зачем Пётр меня привел.

Кулачок в стену простучал, гостья о себе напомнила:

– Где вы там, эй? Ухожу я!

Нет, мы не слышали.

16

Вернулись когда, Наташа в комнате за столом уже была одна и улыбалась Петру своему, за которого в огонь и в воду, а мне даже приветливо особенно, гость все-таки.

И внезапно лицо рыжей на глазах кривиться стало, морщиться, и я отчаяние на нем вдруг разглядел, ненависть прямо. И кашлять стала, а на самом деле это она так рыдала, кашляя и ладонями не прикрываясь:

– Зачем, ну зачем они сюда к нам? Мы жили хорошо, так хорошо! И приехали! Боже мой, зачем они!

От кашля ее я попятился. Ни слов, ни жестов не надо было, чтобы понять. И в секунду ту же в руки гостыи опять угодил – и на счастье свое, точно. За спиной моей у двери спасительница стояла, из тьмы уличной вдруг возникнув:

– Я боюсь одна!

И без слов опять обошлось. Тотчас я девушку хитрую обнял, провожатого изображая и уловке ее только радуясь.

17

На той же улочке жила, в двух шагах, ясное дело. Прошла в калитку, увлекая за собой. И сразу я влетел губами в ее неумело раскрытый рот, сама мне обернулась навстречу.

На крыльцо поднялись, и она дверь нетерпеливо в дом отпирала, громыхая связкой ключей. Опять обернулась, поцелуями стала осыпать, чмокая по-детски ртом. Я, как мог, отстранялся безгласно, в планы не входило.

И вдруг замерла она, к груди плоской мое лицо прижала чуть не как мать:

– Бедный мой! Как тебя?

Я откликнулся, поддавшись:

– Ханс. Почему бедный?

– Уж не знаю почему!

Шептались мы по-немецки. Я вырвал у нее свою голову, отскочил, очнувшись. Пошел, пятясь, к калитке. Она смеялась:

– У меня в школе по языку пятерка была!

Бежал по улочке мимо заборов. Она следом из калитки выпрыгнула, за мной даже бросилась, в раж свой шальной привычно войдя:

– Ханс, подожди! Куда ты, Ханс, глупый! Да ты сам еще вернешься, увидишь! Сам! Ханс, Ханс!

Но тут немецкую речь лай перекрыл, теперь собаки за мной мчались, стая целая. И одна злая особенно оказалась, лютая просто. Сзади насккивала, лапами в спину толкала, повалить пытаясь. И я в ужасе так припустил, прыть проявил вдруг такую, что угнаться никто не мог, невозможно было. Ни собакам, ни девушкам даже шальным.

И вот по железке товарняк как по заказу гулом накатывает, приближаясь вовремя. И я перед паровозом проскакиваю, перед мордой его самой со звездой. И по шоссе спокойно шагаю уже, ночь бестолковую отсекая, всё.

Но рычание и лязг зубов вдруг за спиной, увязалась опять сука эта лютая, надо же. Одна за мной теперь с клыками своими, полюбила, не иначе. А я шагом иду, как шел, нет сил бежать. Ноги вязнут в мягком, видно, уложенном только асфальте, иду и навечно следы оставляю. И она сзади трусит лениво, проклятая. За пятки пастью прихватывает, одежду рвет в свое удовольствие.

И навстречу еще люди как раз из-за поворота, прохожие вдруг в ночи. Люди как люди, и оружия нет при них, рабочие такие же с виду, только вот выправка военная и шаг четкий слишком. И в кювет я падаю как подкошенный, словно подстрелили. Лицом вниз лежу бездыханный, и гравий от их ног сверху сыпется, когда мимо тяжело идут.

А сука проклятая все время на спине у меня, что интересно. Распласталась, прикрывает будто. Перевернувшись, обнимаю ее, что не выдала. А она в ответ мою щеку бедную лижет, как Грета.

Прижимаю к себе пасть страшную, в ухо собачье шепчу:

– Грета!

И потом, по тропкам к заводу пробираясь, сам уже с тревогой оглядываюсь, не отстала ли. И в темноте зову, из виду потеряв:

– Грета, Грета!

18

А шахматисты за партией своей всё сидели. По-другому время шло, не иначе.

Вилли встретил как спасителя, охотно уступая место:

– Садись-ка! Она же ненасытная! Пусть тебя теперь слопают!

Грета взглянула на меня и впрямь плотоядно и уже расставляла на доске нашу партию.

– Одно условие непременно, – объявил я, усаживаясь.

– Всё для тебя, о мой Ханс!

Я поднес палец к губам.

– Что значит?

– Значит, молчим в тряпочку.

– А чего как немой?

– Понимаешь лучше.

– Глупости. Но принято, – кивнула она.

И довольно долго слово держала, молча двигая по доске фигуры. Глаза при этом горели, губы приоткрывались почти в экстазе, предвкушая близкую победу. Я, как мог, сопротивлялся, делал вид.

Только не шахматы были в гроссмейстерской этой головке.

– Старики потом вспоминают женщин, которые их правда любили, – вдруг сказала с горечью. – И жалеют, что прошли мимо, очень жалеют.

– Ты о себе?

– О тебе, конечно.

Я стал смеяться, сбивая невыносимый пафос:

– Бессильно вспоминают в бессильной старости? Но каждую в отдельности и подробно?

– Вот-вот, именно. Ты, вижу, понял.

Я пожал плечами:

– Надо еще ухитриться стать стариком, в чем все дело.

Грета махнула рукой с пешкой, которую только что у меня съела:

– Ну, это самое простое, дорогой. Не успеешь оглянуться.

– Ошибаешься, – сказал я.

Она оторвалась даже от доски, почуяв неладное.

– Ну-ка? То есть?

– Не дожить можно. Не дожить, о моя Гретхен!

Грета смотрела на меня внимательно. Не понимала, о чем я, да и я, может, не совсем понимал. Партия наша встала, перейдя в эндшпиль.

И тут она с ненавистью метнула в меня ту самую съеденную пешку, не зря до сих пор в руке держала.

– Ханс, не доживешь, точно! Собаки жопу порвут!

Трудно отрицать что-либо было, сидя в драных штанах.

Я вернул Грете пешку, ведь поймал ее ловко:

– Что ты, дура, во мне нашла?

– Тебя, – отвечала она, глядя в глаза.

Капитулировать только, что же еще оставалось. Я молча перевернул своего белого короля, положил плашмя на доску. И, оставив партнершу в замешательстве, пошел к себе.

19

Я был уже в койке, когда от страшного удара допотопный крючок слетел с двери, и в комнату вихрем ворвалась Грета, кто же еще. В руке был мой поверженный белый король, она мне его гневно демонстрировала:

– Ты некорректно закончил партию, это первое! Ушел от борьбы, имея все шансы к спасению, это неуважение к партнеру, ко мне, в конце концов!

– Уже был полный капут, не сердись, – оправдывался я.

– Комбинация перед носом стояла, не ври! – закричала Грета. – А что хамски не пожал партнеру руку, это как?

– Партнерше. Будет еще второе? – спросил я.

При свете луны, светившей мне опасно всю ночь, милое лицо Греты некрасиво ощерилось.

– Да. Второе. Немец, ты поплыл, слышишь меня? Мне это видно. Позорно расклеился и поплыл, причем в неизвестном направлении! И я не позволю тебе, не позволю!

– Как немка?

– Именно! Да! Я не позволю тебе на чужбине, как немка!

Ярость такая была, что она метнулась ко мне, пытаясь королем ударить в глаз. Едва не окривев, я перехватил ее руку и по-борцовски перевел соперника в партер. Одноместная койка со скрипучими пружинами к любовным утехам не очень располагала. Но король уже перекочевал ко мне в руки и скоро доблестно оказался там, где по тайным предчувствиям Греты должен был оказаться я сам. Она лежала на спине с раскрытым ртом и ойкнула жалобно в свое время, как природа подсказала. Потом на бок отвернулась, спиной ко мне, замолчав.

– Сам видишь, Ханс. С ума ты сошел.

– Важен результат.

– Свинья, свинья ты, Ханс.

– Ну, белый же он, ариец. Не черный какой-нибудь негр, – не согласился я.

Она села в койке, заткнув уши, чтобы не слышать мои гадости. И ловко перескочила через меня на пол, в себя уже пришла. Достала изящный портсигар со свастикой, гордость, видно, свою. Закурив, встала у окна и выдувала дым в форточку.

– Ты обрекаешь меня на одиночество, ты это понимаешь, о мой Ханс?

Я успокоил:

– Сомневаюсь, что ты можешь быть одинока. Просто не будешь, поверь.

– Нет, я, конечно, вернусь к Маттиасу. И вступлю в партию, в НСДАП, так думаю.

– Вот видишь. Отличный выбор.

Она снова подошла, присев на край койки. И под луной уже улыбалась.

– А, кстати, как тебе пилотка Маттиаса, вернее, я в его пилотке? К лицу, правда?

– Просто в самый раз.

– Хвастаюсь, извини.

– О чем тогда речь, о моя Гретхен?

– Это и есть одиночество, – сказала она серьезно.

И больше ничего не сказала, сидела рядом отвернувшись.

– Перестань, – сказал я.

От того, что тихая была, не плакала, совсем тоскливо стало. Я на нее прикрикнул даже:

– Хватит, Грета! Перестань! Хватит, я сказал!

И тут же, услышав свое имя, рядом совсем, под окном, тоже Грета залаяла, другая.

20

Утром ехали на печь по визжащим нестерпимо рельсам, уже музыкой нашей стал визг этот, гимном. И с нами вечно всегда, даже когда не ехали. И во сне с узкоколейкой не расставались, в голове прямо была проложена со всеми своими зигзагами.

В пути я с удивлением обнаружил, что коллеги мои общаются исключительно знаками, причем увлеченно и почти самозабвенно. Предмет разговора был куда скучнее их жестов и уморительных ужимок: речь шла о предстоящей варке, о том, что сейчас или никогда, и даже о стойкости немецкой нашей породы, всегда проявляющей себя именно в трудный момент.

Меж тем, без сомнения, это был привет мне от Греты, сугубо личное ее послание. Она же, в конце концов, под общий смех и призналась, подчеркнуто на меня не глядя:

– Ханс немую заразу принес, это Ханс откуда-то!

Мы всё кружили замысловато и бесконечно по заводской территории, иной раз вкатываясь даже в цеха, чтобы снова потом выбраться наружу. С утра пораньше солнце светило ярко, июньский день все удлинялся на неминуемом пути к короткой самой в году ночи. Ученые наши конвоиры только рады были бестолково-долгой дороге, держа всех нас скопом на виду. А мы, привыкнув, уже даже не замечали их вежливого присутствия.

И вот, визжа, мы выехали опять из цеха на открытое пространство, поравнявшись с другой дрезиной. Такой же прицеп с пассажирами полз параллельным курсом по соседним рельсам, и мы внезапно рядом с этими людьми оказались близко совсем. Люди были как люди, только в робах почему-то одинаковых и с номерами, и ученые наши сразу не на шутку всполошились. А нас, наоборот, радость вдруг бурная охватила от внезапной близости, причем и тех и других, на обоих прицепах. Мы хохотали без причины и тянулись навстречу друг другу, пытались даже пожимать руки, чуть уже на ходу не братаясь. И махали долго вслед, когда узкоколейка снова нас развела, и люди нам тоже махали со своего прицепа.

Оказалось, расставались ненадолго, мудро узкоколейка свои кружева плела. Внезапно они снова из-за деревьев к нам выкатились и рядом поехали. Но во второй раз радость меньше была, мы помахали еще и совсем перестали. Что-то ушло уже, что было вначале, и мы просто стояли и смотрели друг на друга. И конвоиры успокоились, и ученые наши, и их, неученые, зато со штыками.

И будто Отто очки там у них в толпе на прицепе сверкнули, разглядел я. И Вилли, показалось, усы мелькают, точно. Ну, и Грета там у них тоже своя была, со взором пылающим таким же, только бледная очень. И себя отыскал я, в малом одном признал невыразительным, лет сорока. В сторонке стоял, притулившись, вроде сам по себе он и без сил уже совсем. Но с натяжкой признал: нет, не Пётр, конечно, стоял, не близнец мой. До Петра малому далеко было.

Грета о себе забыть не дала, заметив вдруг с укором и все так же на меня не глядя:

– А собака твоя по шпалам, между прочим!

Обернулся: бежит, так и есть. Бежит и бежит. На всю жизнь приклеилась, господи.

21

Печь и впрямь стояла после ремонта как новенькая, глазам не верил. Я спустился в свое подземелье к топке и, как обычно, приветствовал Петра легким пинком в зад. Такое панибратство между нами уже ритуалом было и бодрило даже перед работой. Иной раз и он меня пинал, подкравшись, и это еще приметой нашей стало такой суеверной, но на сей счет молчали. А скорее всего, радостью просто, что вот опять встретились: здравствуй, это я!

Сейчас я впотьмах напарника подстерег, моя очередь была. Пётр, упав на четвереньки, обернулся, и я увидел, что он не Пётр совсем, а другой какой-то человек, незнакомый.

Я стоял опешив, и человек сам махал мне, успокаивая, пока поднимался:

– Ерунда, Ханс. Хорошее знакомство.

– А Пётр? – спросил я.

Он тоже спросил, стряхивая угольную пыль:

– Кто такой?

– Но вы же знаете, что я Ханс!

– Но не знаю Петра!

– Он работал тут со мной.

– Правда?

– Тут, вот прямо тут!

– Ну, значит, нет Петра, – развел руками человек. – Вы замечаете, что мы разговариваем по-немецки? Как вам мой язык, кстати? Не очень? Я из немцев поволжских, тех, еще екатерининских. И профессиональный стекловар, не думайте!

Болтал без умолку этот екатерининский, или кто он был. Я не слышал.

– Где Пётр, где?

Схватил за ворот, стал трясти, хоть ничего не вытрясти было, понятное дело.

– Не знаю где! Какой Пётр? Начальство распорядилось, чтоб я к вам немедленно! Не сам, начальство! Язык тем более! Не знаю вашего Петра! А я вот он! Или возражаете, что я тут с вами?

Вдруг стекловар в одно мгновение профессионально скрутил меня, вывернув руку, я простонал даже, согнутый в три погибели. Тут же, впрочем, он и отскочил, испугался сам, что рефлекс сработал.

– Извиняюсь. Так получилось.

Кто он, что, мне все равно было, большой человек этот с лицом младенца. Не Пётр он был.

– Ладно, квиты. Запускай. Варка через час.

– Будьте уверены.

Он устал от меня и с явным облегчением схватился за лопату. Махал бешено, как заведенный, забрасывая уголь в мертвую еще топку.

22

Шел, бежал, из цеха в цех перемещаясь. В каждом Пётр мерещился, в каждом. Телогрейки за рукава дергал, в лица заглядывал. Пока самого не дернули, не развернули с силой, и я увидел перед собой усы Вилли.

– Куда?

– За Петром.

– А где он?

– Ищу.

Хоть мог и не искать, уже понимал. Но остановиться тоже не мог.

Вилли догнал опять.

– Ханс, за тобой шакалов туча, ну, хвостов этих, ты натворил чего?

– А чего я?

– Только с Гретой?

– Да, я был король, – не соврал я.

Доволен собой Вилли был, кулаком себя даже в грудь ударил:

– Ай да Вилли!

Едва за мной поспевал, бубнил рядом:

– А я за самогоном наладился, местный один носит, деваться куда? Злыдень горячее совсем перекрыл, с ума сошел! – Он показал, кто злыдень, профессора очки, конечно. И опять схватил меня: – Ханс, смотри, да их что перхоти на башке, твоих этих. Чего такое серьезное, эй, Ханс?

И смотрел я, зря головой крутил:

– Где, где? Не вижу!

Вилли смеялся:

– А ты и не должен. Они тебя.

– А ты их как?

Он в грудь себя опять треснул:

– Вилли!

Пьяный путь его с моим совпал. Отскакивал Вилли и возвращался, хмурясь все сильнее:

– Не он, не он! Пропал мой спаситель!

Шли, бежали напрасно, глазами по сторонам шаря. Так в цех и ворвались, где женщины только одни за длинными столами у приборов сидели. В халатах белых, платки на головах. Линзы перед ними в тисках сияли, и работницы в глазки приборов в линзы эти строго вглядывались. И еще полировали нежные сферы вручную тряпочками.

Получалось, весь путь стеклянный от начала до конца самого мы проделали, от топки угольной до чистоты этой аптечной и сияния. И ходили теперь меж столов на цыпочках без цели, и Вилли ненароком спин женских ручищами своими касался. И так же вышли тихо, будто и не входили, не было нас.

И Вилли сразу про самогон вспомнил, опять побежал куда-то, спаситель ему все чудился. Вернулся совсем уж грустный.

– Пропал!

– Ты или он?

– Оба.

Я догадался:

– Пропал, потому что ты наладился?

Усач бросил на меня быстрый взгляд:

– Так, может, и Пётр?.. И Пётр, ты потому что...

И, словно вдруг забыв обо мне, двинулся дальше один путем своим замысловатым, ему только ведомым. Нет, еще обернулся:

– Ханс, ты не забыл о Мёлле? О нашей рыбалке в августе?

Я отозвался тотчас, как на пароль:

– Да, жду не дожусь, Вилли. Уже снится по ночам.

– Все будет, Ханс, – уверил усач. И рукой издали махнул: – Это я для поднятия духа!

23

Перед варкой самой по ступеням вниз опять. И вдруг на полпути на Отто наткнулся. Молча в пролете стоял, на площадке. И я не понял даже, что профессор сказал, не смог понять.

Потому что не сказал он – прокаркал отрывисто:

– То же самое, Ханс! То же самое! Что сделали в прошлый раз!

– А что я в прошлый раз?

– Не помните, что сделали?

Я стоял окаменев: знает?! Отто смотрел с неприязнью.

– Щека ваша помнит. Ханс, оставьте сказки для русских.

– Они меня обложили.

– Их дело.

Отто неловко схватил меня за рукав, как умел, к себе разворачивая. И все не отпускал, вцепившись, и дышал в лицо уже злобой:

– То, что в прошлый раз. Повторяете. В точности. Два деления на шкале сверх. Два, Ханс, слышите? Мы должны рисковать. В конце концов, за нами Германия! – закричал он, и голос осекся.

– Против этого не попрешь, – оценил я.

– Вот-вот, именно, вы поняли, – кивнул Отто.

Я спросил:

– А результат?

– Стекло.

– Или?

Отто отпустил меня:

– Или – да. Или. Конечно. И я готов поменяться с вами местами. Ханс, я клянусь.

Мы смотрели друг на друга.

– На вашем месте у меня, пожалуй, не хватит извилин, одна всего, помнится, – засмеялся я, и Отто тоже засмеялся.

Но смотрел еще, куда я: вниз к топке или в цех на выход?

Вниз я пошел, и Отто догнал, вцепился опять:

– А вы злопамятны, друг Ханс!

– А вы, как ни стараетесь, сентиментальны! – огрызнулся я, заметив слезы у него на глазах.

24

Нет, не настезь уже калитка. И ставни прикрыты, а на двери замок. Под тусклым фонарем я перемахнул хилый заборчик и у мертвого дома стоял, сам не зная зачем.

И в тишине вдруг мотор заурчал, показалось. Там за домом грузовичок без огней отъезжал украдкой, под тентом Пётр с рыжей Наташей с детьми сидели, я едва разглядел в полутьме. В последнюю самую минуту их застукал, успел. В жизнь вцепился, мертвый дом обежав.

Рыжая с лицом искаженным стала руки мои от борта отрывать. Полуторка набирала ход, и я висел, ноги болтались, а рыжая лицо мне царапала. Я упал и снова за ними побежал, сзади рычала Грета.

Когда опять догнал, Наташа уже ничего со мной сделать не смогла. Подтянувшись, я нырнул под тент, и она метнулась рысью на меня, мы боролись с ней, не щадя друг друга, даже не на жизнь, а на смерть, а Пётр безучастно сидел без движения. Рыжая взгромоздилась на меня амазонкой, била кулаками в лицо, потом я ее под себя подмял, перевернув. И вдруг

все это совсем уж двусмысленно стало, и нежность к нам ближе и ближе подступала, рыжая заплакала бессильно. Мы с ней разомкнулись и лежали среди домашнего скарба, Наташа все всхлипывала.

Пётр жестом позвал: сюда иди! Я подполз и сел с ним у борта рядом. Мы обнялись и ехали так в предрассветных зыбких сумерках. Дома мелькали, а потом уж не дома, деревья выросли сплошной стеной, темно опять стало. Тряслись по лесной дороге, Грета бежала следом, язык уже мотался от усталости.

Рыжая подползла тоже, со мной рядом тихо села.

Пётр руками развел, показывая: “Бежим мы, бежим!”

Наташа меня в грудь ткнула: “От тебя!”

И мальчик еще в полусне из недр фургона вылез, на коленях у меня вдруг улегся. Я смотрел на чистое его лицо и все ехал дальше и ехал, пока он посапывал сладко.

Брат мой Пётр подмигнул: “С нами?”

Но лес кончился, зажмурился мальчик от света нового дня, и к матери скорей перебрался. На коленях мягких, родных и впрямь удобней было.

Я спрыгнул на дорогу и пошел не оглядываясь. Нет, оглянулся, махнув рукой. И Пётр мне одновременно махнул. Просто будто один человек раздвоился.

25

Грета вела назад коротким самым, ей только ведомым путем. Я сбегал в овраги, подворачивая на кочках ноги, и карабкался опять вверх по склонам. Продирался сквозь непролазный кустарник и в голос кричал, оказавшись вдруг в яме по пояс в воде. Я терял собаку из виду, зато она меня никогда не теряла и всякий раз терпеливо дожидалась, пока к ней на хромых ногах подковыляю, совсем уже из сил выбившись. И однажды даже легла сама и мне разрешила растянуться на траве. Зарычала, когда я стал проваливаться в сон. Да, все про меня понимала, не сомневался я, и мерещилась даже улыбка на страшных клыках: как бы на смену Хансу успеть и дух при этом не испустить в дремучем русском лесу, и неизвестно еще, что немцу страшнее. Хохотать сука не умела, не дано было.

К смене успели в самый раз. И в засаде ждали, что успеем, подготовились. Со всех сторон выскочили сразу, обступая. Я метнулся к дому, помчался по территории, последние силы собрав. Ударил кто-то меня, и я кого-то пнул, и опять побежал. Кричали сзади по-немецки, останавливая, за кем бегут, знали.

А у дома уже самого, от погони оторвавшись, услышал я хлопки выстрелов и визг ужасный собачий. Хлопки далеко были, а визг близко, рядом будто совсем. Не визг, плач Греты бесконечный.

Встал я как вкопанный и ни с места. Я понял, но не понимал. Заорал:

– Грета!

И она на зов мой из дверей выскочила. И обнимать стала, решила, что мне нужна. Женщина была.

– Знала, что позовешь, я знала! Ханс, хороший мой! Забудь, что я говорила, я все равно с тобой! Как бы ни сложилось! Пускай! Я с тобой, ты не сомневайся даже!

– А Маттиас? – спросил я зачем-то.

Она на меня замахала руками, бедная:

– Не слушай меня, не слушай!

Следом Отто из дома в испуге выбежал. И Вилли за ним тут как тут. От тех я ушел, в засаде которые, и теперь вот эти обступили, попался.

На лице Отто тревога была, даже голос дрожал:

– Ханс, в вас стреляли?

– Еще не хватало, с какой стати? – возмутился я.

– Пробежки ночью по режимной зоне, Ханс. Этим должно было кончиться.

Я ухмыльнулся в ответ ему нагло:

– Мы, немцы, спортивная нация!

Тут и Вилли неожиданно принял мою сторону. Он так и сказал, меня выручая:

– Извиняюсь, но, чур, я на стороне Ханса! Бег если в привычку вошел, плохо разве? Вот я лично был свидетелем ночной пробежки нашего Ханса по Эльбскому мосту в Гамбурге! И мы даже, помнится, успели поздороваться, верно, Ханс?

– Махнули друг другу, да, – не отрицал я. – Ты был в маршевой колонне, я бежал навстречу, помню как сейчас. И у тебя в правой руке был факел, и ты, кажется, из-за меня даже обжегся?

И тут Вилли помрачнел вдруг. И так же неожиданно дал задний ход, причем в грубой форме:

– Врешь, Ханс. Ты нагло врешь. Не было. Я не хожу в колоннах, и, надеюсь, бог избавит меня от ваших маршей с факельной подсветкой!

– Вилли, не зарекайся, – сказал я.

– Не будет этого! – закричал усач и кулак поднял, на всех сразу замахиваясь.

Вилли без ухмылки. И страдание на лице даже... Я смотрел, не узнавая. Нет, не Вилли это был.

– Я не тот парень, который ходит в ногу!

Он ушел в дом, громко хлопнув за собой дверь.

– И трезвый ведь, что интересно, – заметила Грета.

А Отто будто и не слышал, он все смотрел на меня. Грете жестом показал: и ты иди. И она двинулась вслед за разгневанным усачом, но все на меня оглядывалась.

Мы остались с Отто вдвоем. И тут вдруг кашель меня сумасшедший настиг. Пополом согнуло, я надрылся в нескончаемом стоне, ослепнув уже от слез. Отто терпеливо ждал, по скрюченной спине гладил меня, жалея.

– Живы, друг Ханс? – спросил он.

И не знал, что сказать. И сказал:

– Ваши мотивы для меня загадка, Ханс. Я не хочу вдаваться. Видимо, это что-то такое, что мне не по уму. То, что с вами происходит.

Он помолчал, но ответа не дождался.

– Ханс, выстрелов было два. И третья пуля уже ваша, тут не должно быть иллюзий. Выбор за вами.

– Нет выбора, Отто, – отозвался я.

Он пошел к дому, обернулся:

– Мне будет жаль. Кажется, мы уже стали друзьями.

– Так и есть, Отто.

В дверях он обернулся снова, напомнив:

– Смена, Ханс.

Ушел. А я все у дома столбом стоял.

26

Я вспомнил о Вилли, едва дрезина тронулась.

– А где же усач наш сердитый?

– Своим путем, как всегда. Пешком усач то есть, – сообщила Грета.

– Не в ногу ходит, слышали, – кивнул Отто.

Петляли по территории к цеху, теснясь в прицепе. Визжала музыка узкоколейная. Отто бормотал, как молился:

– Сегодня узнаем, чего мы стоим. Важный денек, дай господи.

Я на пассажиров смотрел: кто стражи теперь мои, те, эти или эти с теми вместе, и сразу все они вокруг меня, свои с чужими? Свои, родные, Отто с Гретой без Вилли, даже не заметили простодушно, когда я с прицепа на разъезде спрыгнул и в другой на ходу забрался. Чужие засуетились бдительно, и двое сразу за мной рванули и тоже следом в новый транспорт полезли, наheckу были.

И росло их число в пути, ученых этих конвоиров. Видно, важной я птицей стал, до края своего дойдя. Вот двое еще запрыгнули, а потом и трое даже сразу, толпа целая вокруг меня собиралась.

Следили теперь, что же делать буду. А я только локтями работал, ничего не делал. Пробирался, рабочих сонных тесня, и всё локтями, локтями. Прицеп весь пока не прошел, от начала до конца, и в спину такую же рабочую не уткнулся, замерев. И не понимали стражи, зачем и куда я, и точку особенно эту последнюю, во что уткнулся. Маневр, конечно, и впрямь чудной был, если стражей глазами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.